

Лев и лилия

Николай Болатов

18+

Николай Болатаев

Лев и лилия

«Автор»

2026

Болатаев Н.

Лев и лилия / Н. Болатаев — «Автор», 2026

Июль 1346 года. Высадка английского войска на побережье Нормандии положила начало одной из самых кровопролитных войн в истории Европы. Под флагами Золотого Льва и Королевской Лилии сходятся две правды, две судьбы и сотни тысяч жизней. Симон оказывается в самом эпицентре разгорающегося ада Столетней войны, где границы между честью и предательством размываются с каждым шагом. Это история о выживании там, где рушатся рыцарские идеалы, а цена верности становится слишком высокой. Сможет ли он сохранить человечность, когда вокруг остаются лишь пепел и сталь?

© Болатаев Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Оглавление	5
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Николай Болатаев

Лев и лилия

Оглавление

ЛЕВ И ЛИЛИЯ

Роман о Столетней войне

ПРОЛОГ

ГЛАВА 1. Деревня в огне

ГЛАВА 2. Оливье

ГЛАВА 3. Дорога наёмника

ГЛАВА 4. Волк без имени

ГЛАВА 5. Имя

ГЛАВА 6. Тень Креси

ГЛАВА 7. После битвы: поле мёртвых

ГЛАВА 8. Чёрная смерть приходит в Нормандию

ГЛАВА 9. Потеря

ГЛАВА 10. Иоланда

ГЛАВА 11. Вербовка Ги де Рибемона

ГЛАВА 12. Лучник короля

ГЛАВА 13. Письмо об Аликс

ГЛАВА 14. Пристань

ГЛАВА 15. Годы затишья

ГЛАВА 16. Марш к Пуатье

ГЛАВА 17. Пуатье: битва

ГЛАВА 18. Вольные компании

ГЛАВА 19. Жакерия

ГЛАВА 20. Выбор Симона

ГЛАВА 21. Тень возвращается

ГЛАВА 22. Ложный след

ГЛАВА 23. Башня у Кутанвиля

ГЛАВА 24. Молот и меч

ГЛАВА 25. Бретињи

ГЛАВА 26. Осень Оливье

ЭПИЛОГ. Дом

ЛЕВ И ЛИЛИЯ

Роман о Столетней войне

ПРОЛОГ

Сен-Ваас-ла-Уг, 12 июля 1346 года

Море в то утро было слишком спокойным для того, что оно несло.

Рыбак Огюстен Ферре стоял на утёсе над бухтой Сен-Ваас, сеть на плече, и считал паруса, пока не сбился со счёта на седьмой сотне. Они закрыли горизонт от края до края — белые, серые, второе небо над Ла-Маншем, плотное, низкое, идущее против ветра галсами. Не течение вело этот флот. Воля человека, решившего, что Франция станет английской.

Флот короля Эдуарда III бросал якоря весь день. Семь сотен кораблей. Десять тысяч человек — латники, лучники, оруженосцы, кузнецы, повара, шлюхи, священники. Распоротый мешок высыпал содержимое на нормандский песок. Флагман подтащили к берегу баграми, подняли королевский штандарт — три золотых льва на алом поле. Рядом реяло второе полотнище: то же поле, пополам с французскими лилиями. Эдуард пришёл не как враг короны с лилиями — как человек, объявивший себя её единственным законным владельцем.

Огюстен Ферре не успел добежать до деревни. Первая стрела нашла его между лопаток раньше, чем он одолел половину тропы.

Он не был первым. И не был последним.

Весь день с кораблей сходили на песок латники в кольчугах, тёмных от морской соли, лучники с тисовыми луками в холщовых чехлах, оруженосцы с лошадьми на верёвках — животных спускали прямо с бортов, и они ржали, бились в построениях, не понимая, почему земля под ногами перестала качаться. Порядка не было. Одни отряды строились под знамёнами капитанов на дюнах, другие растекались по хуторам — искали вино и кур быстрее, чем указаний. Первый дом на окраине Сен-Ваас обобрали дочиста меньше чем за час: солому с крыши стащили на подстилку лошадям, кур переловили, хозяина, посмеявшегося спорить, ударили древком в живот и бросили у собственного колодца. Никто не назвал это грабежом. Это называлось снабжением армии на марше — разница существовала только для тех, кто ещё верил, что война помнит разницу между своим и чужим.

К вечеру дым от Сен-Ваас-ла-Уг был виден за пятнадцать миль. Английская армия — «chevauchée», разорительный марш, призванный не завоёвывать землю, а выжигать волю к сопротивлению, — двинулась вглубь Котантена. Впереди неё бежали слухи, быстрее солдат: жгут, режут, насилуют, уводят скот и людей. Слухи не преувеличивали. Они отставали от правды.

В шестидесяти милях к югу, в деревне Сен-Клер-де-л'Иль, никто ещё не знал этих слухов.

Там, в кузнице у околицы, семнадцатилетний Симон Ла Круа раздувал мехи и думал о том, что к августу отец обещал доверить ему ковку лемехов самому, от начала до конца.

Утро было обычным настолько, что потом, вспоминая его, Симон будет цепляться за каждую мелочь, как цепляются за перила на скользкой лестнице. Гийом Ла Круа пришёл в кузницу раньше сына, как приходил всегда, и уже раздул угли, когда Симон, позёвывая, толкнул низкую дверь и вдохнул привычный запах — окалины, палёного рога, сырого утреннего воздуха, ещё не прогретого горном. Отец стоял спиной, широкой, как дверной косяк, и, не оборачиваясь, кинул через плечо: «Меха, потом клещи. Сегодня доделаем засов для отца Ансельма, он обещал за него два су и молебен, будто одно стоит другого». Симон рассмеялся, хотя ничего смешного сказано не было, — смех между ними двумя всегда был языком более привычным, чем нежность, на которую отец, человек немногословный, скупился, как на серебро.

Он налегал на рукоять мехов, чувствуя, как жар горна ползёт по рукам, а плечи, ещё не привыкшие к недельной норме кузнечной работы, тянет ровной, честной болью — тем видом усталости, которая к вечеру превращается в сон без сновидений. За стеной, на дворе, слышался голос матери, отчитывавшей кого-то из кур за потраву в огороде, и тонкий, звонкий смех Аликс, гонявшейся за той же курицей с прутиком в руке — ей нравилось изображать грозу там, где грозы не было никакой. Симон помнил, как в то утро подумал, взглянув в приоткрытую дверь на сестру, что она слишком быстро становится не ребёнком, а девицей на выданье — эта мысль почему-то царапнула его, хотя тогда он ещё не понял, отчего.

Сосед, старый Тибо, живший через два двора, заглянул за какой-то мелочью — то ли за гвоздями, то ли просто языком почесать, как делал почти каждое утро, — и, уходя, бросил, что видел вчера на дороге к побережью двух торговцев солью, спешивших так, будто за ними гнались, и что один божился, будто в Барфлёре видели паруса, но кто ж в такое поверит спозаранку, соль дороже слухов. Гийом только хмыкнул и велел сыну не отвлекаться от меха,

потому что железо ждать не будет, а слухи — подождут. К августу, повторил он, к августу лемехи Симон будет ковать сам, от первого удара до последнего, и в голосе отца была гордость, которую тот, как обычно, постарался спрятать за деловитым тоном.

Он не знал, что до английской армии — три дня пути. Он не знал, что через три дня у него не останется ни отца, ни дома, ни имени, за которым можно спрятаться.

Он просто ковал железо, и железо было горячим, и это было единственной правдой, которую он тогда понимал.

ГЛАВА 1. Деревня в огне

Симон запомнил тот день по звукам — раньше, чем по всему остальному.

К полудню он успел кончить нехитрую заготовку, порученную ему на то утро, — око-вать колесо для телеги мельника, работа скучная, но такая, в которой рука уже не думала, что делает, только пальцы да плечи помнили счёт ударов. Отец в это время правил лезвие косы у наковальни рядом, и оба молчали тем молчанием двух людей, которым не нужно запол-нять паузу словами, потому что дело говорит за них само. Симон вытер лоб тыльной стороной ладони, оставив на коже серую полосу окалины, и на мгновение позволил себе просто постоять, вслушиваясь в звуки полудня — стук цепа с дальнего гумна, кудахтанье кур во дворе, голос матери, звавшей Аликс мыть руки перед обедом. Ничего в этих звуках не предвещало того, что случится через час. Позже, вспоминая эту минуту снова и снова, он будет искать в ней хоть какой-то знак, хоть тень предчувствия, — и не найдёт ничего, кроме обычного, ленивого летнего полудня, каким он бывает за секунду до того, как мир меняется навсегда.

Сначала — колокол. Не так, как звонили к утрени или к вечерне, размеренно и сонно, а рвано, взхлёб: верёвку у звонаря выдирали из рук прямо во время удара. Потом — крик, один, женский, оборвавшийся слишком быстро для испуга. Потом — стук копыт. Много. Слишком много для деревни, где на всех был один старый мерин мельника.

— Симон. — Отец опустил молот. Гийом Ла Круа был крупным мужчиной, с руками, которые могли согнуть подкову без клещей, но в то утро эти руки на мгновение застыли, не зная, за что хвататься. — Беги к матери. Возьми сестру и в лес, к Волчьей балке. Не огляды-вайся.

— А ты?

— Я приду.

Он не пришёл.

Симон не увидел, как это случилось — так он потом говорил себе, годами, ночь за ночью. Он бежал через огород, через плетень, топтал молодую фасоль. На дальнем конце улицы — первые всадники: латы в грязи, у кого-то крест святого Георгия на сюрко, у кого-то чужой герб, кто-то вовсе без герба — гасконец на службе за деньги, не за флаг. Не отличить одного от другого, когда оба вскидывают факел к соломенной крыше.

Дом горел быстро. Солома всегда горит быстро.

Он бежал мимо колодца, мимо дома старого Тибо. Дверь настежь, сам Тибо ничком на пороге — не отдыхал, лежал. Симон не остановился проверить, дышит ли сосед: что-то внутри, холодное, уже знало — остановиться значит не успеть. За плетнём общинного выгона кричал чужой ребёнок, не Аликс, — и крик этот пришлось оставить позади, тело несло Симона к дому быстрее, чем совесть успевала возразить. Этот выбор он запомнит так же ясно, как собственное молчание за амбаром: первый камень в стене, которую он потом всю жизнь будет класть между собой и тем, кем был до этого утра.

Мать он нашёл во дворе — та пыталась загнать сестру в погреб, где хранили репу и где Симон в детстве прятался от отцовских наказаний. Аликс было двенадцать. Она не кричала. Это было страшнее всего: она смотрела на приближающихся всадников молча, широко рас-крытыми глазами — птица под тенью ястреба, забывшая, что у неё есть крылья.

Симон замер на миг — не от всадников, от лица сестры. Он помнил Аликс смеющейся во дворе тем же утром, гонявшейся за курицей с прутиком. Два образа не сходились в одном человеке: девочка из утра и девочка этого мгновения были разными людьми, и одна исчезла безвозвратно раньше, чем исчезла другая.

— В балку, — сказал Симон, хватая мать за руку. — Живо.

Они не успели.

Всадник — Симон запомнил его не по лицу, лицо скрывал шлем с открытым забралом, из-под которого торчала русая борода, а по эмблеме на груди: бегущий волк, вышитый серебром по серому полю, — направил коня прямо на них, не сбавляя хода: люди на пути были кустами, не больше. Мать толкнула Симона в сторону, он упал в грязь у плетня. Конское плечо ударило её. Она исчезла под копытами.

Дальше — рывками. Кто-то вырезал куски из его памяти ножом и сжёг их вместе с деревней.

Он помнил, как полз к матери и как чья-то рука — не отцовская, чужая, широкая, пахнущая дымом и железом — схватила его за шиворот и оттащила за амбар.

Он помнил голос — низкий, спокойный, до жути неуместный среди криков: так говорят о погоде.

— Она мертва. Ты — нет. Пока. Выбирай быстро.

Он помнил Аликс — только на мгновение, между двумя всадниками: её волокли за косу к телегам, куда сгоняли тех, кого решили не убивать сразу. Живой товар стоил денег. Мёртвый — ничего.

Он закричал её имя. Один раз. Рука на его шиворот сжалась крепче.

— Ещё раз крикнешь — и тебя услышат тоже. Тогда её судьба будет ждать и тебя. Молчи.

Симон замолчал. Это молчание он не простил себе никогда.

То, что случилось дальше, не было решением, не было мужеством — тело взяло верх над тем немногим, что осталось от разума. Его вырвало прямо там, за амбаром, на четвереньках, снова и снова, пока в желудке не осталось ничего, потом ещё несколько раз всухую. Руки тряслись, кулаки не сжимались. Он открывал рот — закричать, во всю силу лёгких, — и не издавал ни звука, только хриплое, рваное дыхание: чужая рука лежала на плече, и где-то за пределами паники тонкий голос ещё помнил приказ молчать. Сколько это продолжалось — минуту, четверть часа, — он не запомнит. Запомнит одно: когда всё кончилось, не было ни облегчения, ни стыда за слабость. Не было вообще ничего. То, что тряслось и блевало за амбаром, было другим Симоном. Настоящий смотрел со стороны, спокойно, отстранённо — так он позже будет смотреть на сапоги, снятые с мертвецов.

Оливье дождался, пока дрожь в его руках уляжется, не пытаясь утешить и не отворачиваясь из ложной деликатности, — просто стоял рядом, как стоят у наковальни, ожидая, пока металл остынет достаточно, чтобы взять его в руки. Когда Симон наконец сумел подняться, тот протянул ему флягу с водой, ничего не сказав, и подождал, пока он не сполоснёт рот и не сделает несколько глотков.

* * *

Оливье поднял его на ноги без лишних слов — просто взял за локоть и потянул, тем движением, каким поднимают оступившегося, не спрашивая, готов ли тот идти. Они пошли не сразу к кузнице, а в обход, через то, что осталось от общинного выгона, — Оливье, как позже понял Симон, хотел сперва оценить, сколько всадников ещё в деревне и в какую сторону они движутся, прежде чем вести мальчишку напрямик туда, где их могли заметить.

По дороге им попала коза: привязана у обгоревшего плетня, обезумевшая от дыма, бьётся в верёвке — чудом ещё не задушила себя. Симон, не думая, остановился её отвязать. Оливье смолчал, не поторопил, хотя каждый шаг тянул его быстрее. У колодца лежала женщина — не мать, чужая, соседка Жанна, вдова мельника. Симон узнал её по платку в золе,

повязанному тем же узлом, каким она повязывала его каждое воскресенье перед мессой. Оливье закрыл ей лицо обрывком её же передника — молча. Не из сентиментальности: мёртвых с открытыми глазами легче принять за живых в дыму, а это стоит секунды тому, кто ошибётся.

— Смотри под ноги, — сказал он один раз, коротко: в золе лежал детский башмак, одинокий, без пары, без хозяина поблизости. Симон не спросил, чей.

Кузница оказалась меньше, чем он её помнил: дым и пепел стёрли привычные пропорции, а дом, в котором прошла вся его жизнь, он впервые видел со стороны, глазами постороннего. Крыша обвалилась внутрь. Каменные стены горна устояли — единственное, что не взял огонь. Симон понял прежде, чем увидел тело: отец погиб здесь, у собственного очага, — смерти в другом месте он для себя не представлял.

Он не видел, как умер отец. Тело нашли на следующий день — Сен-Клер-де-л'Иль к тому часу уже догорал углями. Гийом Ла Круа лежал у порога кузницы, молот в руке. Рана говорила: он успел ударить хотя бы раз, прежде чем меч оказался быстрее.

Симон стоял над телом отца долго. Человек, который оттащил его за амбар и удержал от крика, стоял рядом, не торопя.

Он опустился на колени в золу — не чувствовал, как она жжёт кожу сквозь штанину, — и вытащил молот из заострившихся пальцев. Рукоять была тёплой: то ли от огня, то ли ещё держала тепло руки. Это тепло оказалось хуже всего, что он видел за то утро — оно значило, что отец, считанные часы назад, был жив, дышал, стоял у этой самой наковальни, говорил про август и про лемехи. Симон закрыл отцу глаза, веки поддались нехотя. Долго сидел так, не двигаясь, с молотом на коленях, не замечая Оливье, который терпеливо ждал в нескольких шагах, привалившись плечом к обугленному столбу коновязи.

— Как тебя зовут? — спросил Симон наконец, не поднимая глаз.

— Оливье. Оливье де Шатильон. Хотя от «де» давно больше пользы, чем от самого имени.

— Ты рыцарь?

— Был. — Оливье носком сапога тронул золу у порога. — Теперь я то, что осталось от рыцаря, когда с него снимают землю, титул и причину служить кому бы то ни было. Меня называют рутье. Вольный. Это значит — никому не служу, кроме того, кто платит, и ничего не должен, кроме того, что сам решу быть должен.

— Почему «был»? — спросил Симон, не в силах сдержать любопытство даже посреди горя, которое ещё не осознавал целиком.

Оливье долго молчал, прежде чем ответить, и в этом молчании Симон впервые уловил то, что позже научится узнавать безошибочно, — тень старой раны, которую не лечит время, а только учит носить аккуратнее.

— Долгая история, юноша, и не для утра, когда ты хоронишь отца. Скажем так: я присягнул человеку, который не заслуживал присяги, и остался верен ей дольше, чем следовало. Остальное — в другой раз, если он у нас будет.

— Что ты вообще делал у нашего амбара? — спросил Симон, только теперь удивившись самому очевидному.

— Шёл в хвосте английского войска, как шакал за львом, — ответил Оливье без стыда. — Такие, как я, не сражаются в общем строю — подбирают то, что роняют другие: брошенное добро, отставших от роты мародёров, которых можно без риска обчистить, пока те заняты чужим двором. Я услышал крик из-за плетня раньше, чем увидел тебя, и завернул туда не ради тебя — ради того, что можно было взять. Ты просто оказался на пути.

— Зачем ты меня спас?

Оливье долго молчал, глядя на пепелище: не одна сгоревшая деревня стояла у него перед глазами — много, одна на другой, страницы одной и той же книги, переписанной раз за разом с одним и тем же концом.

— Не знаю ещё, — сказал он наконец. — Может, потому что один раз я не спас никого, и мне не понравилось, каким я стал после этого. Ты пойдёшь со мной или останешься хоронить пепел?

Симон посмотрел на отцовские руки — те самые, что обещали доверить ему ковку лемехов, — и в первый раз в жизни почувствовал, как в груди что-то переплавляется во что-то другое: не в горе, горе было бы честнее, а в холодную, твёрдую решимость, ещё не знающую своего имени.

— Куда ты идёшь?

— Туда, где платят тем, кто умеет драться. Рано или поздно — это будет то же самое место, куда увели твою сестру. Мир достаточно мал, а война — достаточно большая, чтобы дороги снова пересеклись.

— А если я догону телеги прямо сейчас? — спросил Симон, и в голосе его прозвучала последняя, отчаянная вспышка того мальчишества, которое это утро забрало у него навсегда. — Их не может быть далеко. Я могу...

— Ты можешь умереть, не пройдя и мили, — оборвал его Оливье, и в этот раз в его голосе не было ни насмешки, ни жалости, только твёрдость человека, повторяющего то, что уже видел десятки раз. — Телеги идут в хвосте колонны, под охраной вооружённых людей, для которых зарезать безоружного мальчишку — не подвиг, а скука, способ развеять её на марше. Ты не спасёшь сестру мёртвым. Ты даже не узнаешь, куда её увезли, потому что мёртвые не умеют спрашивать дорогу.

— Тогда что мне делать? Просто идти рядом с тобой и ждать?

— Учиться, — сказал Оливье просто. — Ждать, пока сила и знание не сравняются с яростью, которая в тебе уже есть в избытке. Ярость без умения — это не меч, юноша, это просто способ умереть быстрее, чем твой враг успеет вспотеть. Я не обещаю тебе, что мы найдём её завтра. Я обещаю, что если ты пойдёшь со мной и выживешь достаточно долго, чтобы научиться, у тебя будет шанс — настоящий, а не тот, что кончается в канаве в первый же день.

Симон молчал долго, глядя на дорогу, по которой давно скрылась из виду английская колонна, увозящая с собой не только его сестру, но и десятки таких же, как она, — из десятков таких же деревень, как его собственная.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Учи меня.

Симон в последний раз посмотрел на дом, на кузницу, на отца.

— Тогда я иду с тобой.

Оливье кивнул, не удивившись, и зашагал к дороге на восток, откуда доносился слабеющий гул английской колонны. Симон в последний раз опустился на колени у тела отца — не для молитвы, слова не шли на ум, — прижался лбом к безжизненной руке, ещё хранившей запах кузницы сквозь гарь. Поднялся. В одной руке — отцовский молот, в другой — нож, что дал ему Оливье: два орудия, которые отныне заменят ему всё, чем он был раньше.

Он не знал ещё, что этот выбор растянется на двенадцать лет, что человек рядом с ним станет ему ближе отца, а потом снова — почти чужим. Перед глазами стоял только бегущий серебряный волк, вышитый на серой ткани сюрко, — единственная примета, оставшаяся у него от лица убийцы, которая однажды приведёт его к имени. Но не сегодня. И не завтра. Цена этого имени окажется выше, чем он мог тогда представить.

Они вышли на дорогу, когда солнце клонилось к западу, обещая скорую темноту — и вместе с ней первую ночь без крыши, без семьи, без имени, которое он носил бы с гордостью, если бы мир ещё признавал такие вещи, как гордость. Дым за спиной поднимался уже не столбом — низким, стелющимся маревом: деревне больше нечего было терять, она догорала медленно. Один раз он обернулся — тело само повернуло голову, не воля, — и увидел на месте кузницы чёрный остов трубы, обломанный зуб, торчащий из пепла. Больше он не оборачивался. Оливье шёл на полшага впереди, не оглядываясь, не подгоняя.

Пепел остался за спиной. Дорога легла впереди. И молот, который он взял с собой, — не для того, чтобы ковать лемеха.

ГЛАВА 2. Оливье

Оливье де Шатильон разговаривал с миром так, будто был должен ему очень много и не собирався платить.

Он был не молод, но и не стар — скорее, из тех мужчин, чей возраст трудно угадать точно, потому что жизнь оставила на нём не морщины прожитых лет, а зарубки прожитых опасностей: седина на висках пробилась рано, задолго до срока, шрам над левой бровью тянулся к волосам светлой полосой, а движения, даже самые обыденные — снять с пояса флягу, поправить перевязь, — сохраняли ту скупую, выверенную точность, которую даёт долгая привычка к тому, что лишнее движение может стоить жизни. Он одевался небогато, но опрятно для человека без крова: кожаная куртка, потрёпанная, но хорошо выделанная, сапоги, которые чинил сам, вечерами, аккуратными, почти хирургическими стежками, будто в этом маленьком ритуале находил ту же дисциплину, которую когда-то, должно быть, находил в оружейном деле.

Первые дни Симон шёл за ним молча, потому что не было слов и потому что каждый звук казался предательством памяти. Оливье не торопил его. Он вообще, как заметил Симон, никуда особо не торопился — двигался по разорённой Нормандии с уверенностью человека, знающего, что худшее, что могло с ним случиться, уже случилось много лет назад, и с тех пор мир мог удивить его только повторами.

Ночевали они где придётся — раз в заброшенном овине, где солома ещё хранила запах чужого, не сгоревшего дома, и Симон долго не мог уснуть, вдыхая этот запах и вспоминая свой собственный; раз просто в канаве у дороги, укрывшись плащом Оливье на двоих, потому что своего у Симона не было и не будет ещё долго. Голод пришёл на второй день — не тот голод, что бывает после пропущенного обеда, а тот, что скручивает живот в тугую узел и делает мысли медленными, вязкими, будто их пропустили через сукно. Оливье делился с ним тем немногим, что имел сам, без просьб и без напоминаний о том, что делится, — ломтем чёрствого хлеба, глотком кислого вина из фляги, — и в этой немногословной щедрости Симон, ещё не готовый признать это вслух, впервые за много дней почувствовал не благодарность даже, а нечто более простое: что рядом с ним идёт человек, который не бросит его, даже если не скажет об этом прямо.

— Куда мы идём? — спросил наконец Симон на третий день, когда голод оказался сильнее горя.

— За армией, — ответил Оливье, не оборачиваясь. — Английской. Она идёт на Кан, а после — бог весть куда, может, на Париж, может, играть в кошки-мышки с Филиппом Валуа до самой зимы. За такой армией всегда есть чем поживиться — брошенное добро, раненые, которых можно раздеть, обозы, которые плохо охраняют.

— Мы будем грабить мёртвых?

— Мы будем есть, — сказал Оливье жёстко. — Ты можешь называть это как хочешь, пока у тебя в животе не остаётся ничего, кроме гордости. Гордость не насыщает, юноша. Я пробовал.

Он остановился, впервые за три дня посмотрев на Симона в упор — серые глаза, сеть морщин вокруг них, шрам, пересекающий бровь и уходящий в редящие волосы.

— Ты умеешь держать нож?

— Я кузнец. Я умею его ковать.

— Это не одно и то же, но для начала сойдёт. — Оливье снял с пояса нож и бросил его Симону рукоятью вперёд. — Первое правило: то, что ты выковал сам, ты знаешь лучше, чем любой мастер. Слушай сталь. Она не врёт, в отличие от людей.

Так началось обучение, которое Симон позже назовёт про себя — не вслух, никогда вслух — своим настоящим взрослением, куда более настоящим, чем всё, чему его учили в деревне.

Оливье учил его не как рыцарей учат оруженосцев — не турнирной чести, не куртуазности, не гербам и родословным. Он учил его выживать. Как читать землю, чтобы понять, сколько людей прошло здесь и как давно. Как спать так, чтобы просыпаться от изменения звука ветра. Как убить человека тихо, если нужно тихо, и как сделать это громко, если нужно, чтобы услышали и испугались.

Первый урок обращения с ножом Симон запомнил не по тому, чему научился, а по тому, как жестоко ошибся. Оливье воткнул в землю два колышка на расстоянии вытянутой руки друг от друга и велел Симону встать между ними и бить по свисающему с ветки пучку тряпья, изображавшему противника.

— Бей не рукой, — сказал он, — бей всем телом. Рука без тела — это прут, а не нож.

Симон замахнулся, вложив в удар всю злость, накопившуюся за последние дни, — и потерял равновесие настолько, что растянулся в грязи под смех, который Оливье не потрудился сдерживать.

— Злость — плохой учитель, юноша, — сказал он, протягивая руку, чтобы поднять Симона на ноги. — Она заставляет бить сильно, но не туда, куда нужно. Твой враг не сноп тряпья. Он не будет стоять смирно, пока ты вымещаешь на нём смерть отца.

— Тогда покажи, как надо, — огрызнулся Симон, отряхивая грязь с колен, задетый больше смехом, чем падением.

Оливье пожал плечами, снял с пояса собственный нож и в три коротких, почти ленивых движения разрубил пучок тряпья так, что тот развалился на землю двумя частями. Ни одно из движений не выглядело быстрым. Быстрым оказался результат.

— Дело не в силе руки, — сказал он, отряхивая клинок о штанину. — Дело в том, чтобы противник не понимал, откуда придёт удар, пока удар уже не пришёл. Это ремесло, юноша, такое же, какковка. Ты же не бьёшь молотом по железу с закрытыми глазами и не молишься, чтобы вышло само. Ты смотришь, куда бьёшь, и бьёшь именно туда.

Они пререкались из-за этого не раз в последующие дни — Симон, привыкший к прямой логике кузнечного ремесла, где сила и точность почти всегда шли рука об руку, упрямо считал, что чем сильнее удар, тем он вернее, и не желал сразу признавать, что в бою на нож это правило работает наоборот. Однажды он в сердцах бросил, что Оливье учит его «как беречь силы для труса», — и тут же пожалел о сказанном, увидев, как на миг застыло лицо учителя.

— Трус бережёт силы, чтобы убежать, — ответил Оливье тихо, без гнева, что оказалось хуже любого крика. — Я берегу твои силы, чтобы ты остался жив достаточно долго и однажды применил их против того, кого действительно ищешь. Называй это как хочешь. Мёртвым всё равно, храбро они умерли или расчётливо.

Симон не извинился вслух — гордость всё ещё не позволяла, — но на следующий день бил уже медленнее, внимательнее, слушая не свою злость, а слова учителя, и к вечеру Оливье, оглядев с полдюжину разваленных на земле пучков тряпья, коротко кивнул — единственная похвала, которую он вообще был готов раздавать в те дни.

Обучение скрытности оказалось для Симона едва ли не труднее ножевого боя: дело было не в нехватке сил, а в необходимости по-новому отнестись к собственному телу, привыкшему к грубой, откровенной силе кузницы. Оливье заставлял его часами красться по сухому подлеску, огибая каждую ветку, каждый ком палой листвы, который мог хрустнуть под ногой, — и раз за разом останавливал его резким «стой» при малейшем неверном звуке, не объясняя, что именно выдало его, предоставляя самому Симону разбираться, какой шаг был лишним.

— Тише — это не то же самое, что медленнее, — сказал он однажды, когда Симон, вымотанный третьим часом такой ходьбы, в сердцах спросил, зачем вообще нужно это умение человеку, который и так неплохо владеет ножом. — Тише — значит точнее. Медленный неуклюжий шаг производит столько же шума, сколько быстрый неуклюжий, юноша, только у тебя

остаётся меньше времени среагировать, если тебя всё-таки услышат. Наблюдай за кошкой, если сомневаешься. Она не крадётся медленно — она крадётся правильно.

К концу второй недели Симон уже мог пройти десяток шагов позади спящего лагеря, не разбудив ни одного из привыкших к любому шороху караульных псов, приблудившихся к обозу, — небольшая, почти детская гордость за это умение стала первой гордостью, какую он позволил себе испытать после пожара, и он тут же устыдился этого чувства, будто радость была предательством памяти о доме. Оливье, заметив эту тень стыда на его лице, не сказал ничего утешительного — только положил руку ему на плечо на мгновение дольше, чем требовалось, и этого оказалось достаточно.

— Тебя когда-нибудь спасали? — спросил однажды Симон, когда они делили у костра краюху хлеба, украденного — выменyanного, поправил себя Симон, хотя разница стиралась день ото дня, — на дальнем хуторе.

Оливье отломил кусок хлеба, покрутил его в пальцах, так и не поднеся ко рту.

— Однажды, — сказал он наконец. — При Слэйсе, на море, в сороковом году. Я тонул, доспехи тянули на дно быстрее, чем я успевал их снять. Меня вытащил простой матрос, даже не солдат — гребец с галеры, из простых, из тех, кого рыцари вроде меня не замечали, разве что как груз, который надо перевезти. Он не знал, кто я. Ему было всё равно. Он просто увидел тонущего человека и прыгнул.

— И что с ним стало?

— Не знаю. Я даже не спросил его имени. — В голосе Оливье впервые прозвучало что-то похожее на стыд. — Я поблагодарил его золотой монетой, как будто это могло что-то компенсировать, и уехал воевать дальше. Только через несколько лет я понял, что монета была оскорблением. Он спас мне жизнь, а я расплатился с ним, как с трактирщиком за ночлег.

— Поэтому ты спас меня? Чтобы расплатиться с ним через меня?

Оливье усмехнулся — редкая гостья на его лице, эта усмешка, горькая и короткая.

— Может быть. Люди редко знают истинную причину собственных поступков, юноша. Обычно они узнают её значительно позже, когда уже поздно что-то менять. Ешь. Завтра идём дальше.

* * *

Несколько дней спустя, на подходе к очередной сожжённой деревне, чьё имя Симон так и не узнал, они разделили костёр с ватагой из четырёх таких же вольных людей, ведомых сутулым нормандцем по прозвищу Кривой Матье — прозвище досталось ему за глаз, затянутый бельмом ещё с юности, задолго до всякой войны, хотя сам он охотно рассказывал байки о том, будто потерял его в поединке с сарацином, каждый раз на новый лад.

— Мальчишку куда тащишь, Шатильон? — спросил один из ватаги, разглядывая Симона с тем прищуром, каким оценивают не человека, а обузу. — Он тебе не оруженосец. У оруженосца хоть конь есть.

— Он мне не оруженосец, — согласился Оливье спокойно, не отрываясь от того, чем занимался — правкой лезвия о плоский камень. — Он мне попутчик, который однажды будет резать быстрее и тише тебя, если доживёт до этого дня. А доживёт он с большей вероятностью, чем ты, потому что слушает, когда ему говорят не соваться под удар.

За костром раздался смех — беззлобный, тот вид смеха, которым мужчины скрепляют временное перемирие между собой, — и Кривой Матье, отсалютовав Симону обглоданной костью, будто кубком, разразился длинной, явно не в первый раз рассказанной историей о том, как в прошлом году под Кутансом его ватага по ошибке ограбила дом собственного капитана, переодетшегося крестьянином ради шутки, и что тому потребовалось три дня, чтобы решить, кого вешать, а кого просто высечь. Даже Оливье позволил себе неохотную улыбку — редкую в те дни гостью на его лице, — а Симон, слушая, впервые с той ночи, когда сгорел отцовский дом, почувствовал нечто отдалённо похожее на облегчение: не радость, для радости было ещё

слишком рано, но что-то вроде передышки, тонкой трещины в стене горя, через которую на мгновение просочился обычный человеческий смех.

* * *

Они догнали хвост английской армии через неделю, у стен Кана. То, что Симон увидел там, он не забудет никогда, хотя предпочёл бы забыть многое — резня в городе, где, по слухам, погибли тысячи, была лишь прологом к тому, что творилось на дорогах вокруг: сожжённые мельницы, вытоптанные поля, деревни, превращённые в то же самое, чем стал Сен-Клер-де-л'Иль.

Он искал среди беженцев и пленных лицо сестры на каждом привале, в каждой колонне связанных пленников, которых гнали к побережью для выкупа или продажи. Он не находил её. Оливье не мешал ему искать, но и не обнадеживал.

В одном из таких лагерей беженцев, разбитом на пустоши в стороне от главной дороги, где скопились те, кого война согнала с земли, но кому некуда было податься дальше, Симон однажды увидел девочку — светловолосую, примерно того же возраста, что Аликс, — и сердце его на миг остановилось так резко, что он забыл, как дышать. Он бросился через толпу, расталкивая беженцев локтями, не разбирая дороги, и, только схватив девочку за плечо и развернув к себе, увидел, что ошибся: чужое, испуганное лицо, чужие, тёмные, а не голубые, как у Аликс, глаза, — и девочка закричала, а мать её, тощая женщина с лицом, серым от голода, бросилась между ними, заслоняя дочь собственным телом и осыпая Симона проклятиями, в которых горя было больше, чем гнева.

— Прости, — только и сумел выговорить Симон, отступая, — прости, я обознался, — но женщина не слушала, крепко прижимая дочь к себе, будто он всё ещё мог её отнять, и Симон ушёл прочь под взглядами десятков беженцев, которые смотрели на него так, как смотрят на волка, забредшего по ошибке в овчарню.

Оливье не сказал ему ни слова упрёка, когда он вернулся к костру, — только протянул флягу, как протягивал её всегда после того, что не поддавалось словам.

— Аквитания велика, — сказал он как-то вечером, когда Симон в очередной раз вернулся из безуспешного обхода лагеря беженцев. — Англия ещё больше. Если её увезли за море, ты можешь искать всю жизнь и не найти. Прими это сейчас, чтобы не сломаться позже.

— Я не приму это никогда.

— Тогда научись жить с этим, не ломаясь. Это единственная разница, которая имеет значение.

Симон промолчал. Но в ту ночь, лёжа у чужого костра под нормандским небом, которое пахло дымом на сотню миль вокруг, он дал себе клятву — не богу, у него больше не было уверенности, что бог слушает, а себе самому, единственному свидетелю, которому он ещё доверял: он найдёт Аликс. Он найдёт человека с серебряным волком на щите — кем бы тот ни был. И он заставит обоих заплатить: одного — вернуть украденное, другого — за то, что вернуть нельзя.

Дни складывались один в другой без чётких границ, и в этом однообразии — подъём затемно, ходьба, привал, урок с ножом, ходьба снова, костёр, сон вполглаза — Симон постепенно начал находить не облегчение даже, а нечто вроде опоры, того же рода, каким для него в прежней жизни было расписание кузницы: мехи, потом клещи, потом молот, день за днём, пока руки сами не начинают знать, что делать дальше, без участия разума. Оливье редко хвалил его вслух, но Симон научился читать одобрение в мелочах — в том, как учитель без слов протягивал ему лучший кусок у костра, в том, как перестал повторять дважды то, что Симон и с первого раза усвоил твёрдо. Между ними ещё не было ничего похожего на приязнь, о которой можно было бы сказать вслух, — слишком свежа была рана, слишком странны были обстоятельства их встречи, — но было то, что оказалось прочнее приязни: привычка друг к другу, которая вырастает не из выбора, а из необходимости выжить бок о бок, и которая, Симон подозревал уже тогда, переживёт саму нужду в ней.

Армия впереди продолжала течь на север, к месту, чьё имя Симон услышит впервые только через несколько недель, — Креси, — пока для него это было просто ещё одно слово в длинной череде дорог. Он не догадывался, что там, в поле под этим названием, он увидит, кто на самом деле правит войной, — не короли, не гербы, а простые люди с луками в руках, которых ни один рыцарь не считал достойными противниками.

До тех пор, пока не стало слишком поздно.

ГЛАВА 3. Дорога наёмника

От Кана до Сены было три недели ходу — если идти вместе с армией, которая не спешила, потому что спешить ей было незачем. Эдуард III вёл своих людей не как охотник, преследующий добычу, а как жнец, идущий по полю: медленно, основательно, не оставляя за собой ничего, что стоило бы сжать во второй раз.

Симон и Оливье двигались в хвосте этого шествия — среди маркитантов, шлюх, беглых крестьян, обозных воров и десятков таких же вольных людей, как Оливье, для которых война была не долгом, а ремеслом. Это был отдельный мир, текущий в кильватере армии, как мусор в кильватере корабля, и в этом мире у Симона впервые появилось имя, не связанное с кузницей и не связанное с погибшей семьёй.

— Симон-кузнец, — назвал его на второй неделе рыжий гасконец по имени Пейре, чинивший упряжь у соседнего костра. — Хорошая рука для ножа. Оливье тебя не зря подобрал.

Симон не ответил. Молчание среди этих людей ценилось выше слов — слова здесь стоили дорого, ими торговали так же, как хлебом и краденым серебром, и тратить их зря значило показать себя простаком.

Пейре не обиделся. Он был из тех, кто разговаривал сам с собой не хуже, чем с другими, лишь бы был повод, и в последующие дни Симон узнал от него больше о войне, чем за месяц ходьбы рядом с молчаливым Оливье.

Пейре взял Симона в оборот на свой манер — не так, как Оливье, размеренно и поучительно, а вперемешку, между делом, посреди починки упряжи или чистки котла. — Держи шило вот так, — говорил он, не отрываясь от собственной работы, — не то проткнёшь себе ладонь раньше, чем кожу. — И тут же, без паузы, перескакивал на байку о том, как в его родной Гаскони один сеньор судился с соседом три года за межевой камень, который в итоге сдвинула не чья-то злая воля, а обычный кабан.

Симон, привыкший за недели пути к сдержанности Оливье, поначалу терялся от этого потока слов, но быстро понял: за пёстрой болтовнёй Пейре прятал внимательность не меньшую, чем у самого Оливье, — просто иного рода. Гасконец замечал, кто из соседей по костру задолжал кому монету, кто накануне удачно сыграл в кости, а кто скрывает рану, чтобы не отстать от роты и не потерять долю в добыче. — Слушать людей — тоже ремесло, кузнец, — сказал он однажды, подмигнув. — Оливье учит тебя убивать тихо. Я учу тебя слушать громко — то есть так, чтобы никто не заметил, что ты вообще слушаешь.

Единственный раз они с Оливье схлестнулись из-за Симона — не всерьёз, скорее как два ремесленника, спорящие о правильном способе держать резец. Оливье застал Симона за штопкой собственного сапога иглой Пейре и заметил сухо, что воину не пристало тратить вечер на портновское дело, когда можно оттачивать удар. Пейре, услышав это, фыркнул и заявил, что рыцарь без сапог — просто нищий с амбициями, и что сам Оливье, будь он поумнее в свои лучшие годы, зашивал бы сапоги, а не терял их вместе с землёй и титулом. Оливье не ответил сразу — только смерил гасконца долгим взглядом, — а потом, неожиданно, усмехнулся и махнул рукой, признавая поражение без единого слова. Симон, наблюдавший этот безмолвный поединок, впервые за долгое время рассмеялся вслух — коротко, почти против воли, будто смех застал его врасплох так же, как и всех остальных.

— Знаешь, почему король английский жжёт, а не берёт штурмом? — спросил как-то Пейре, обгладывая кость у костра. — Штурм — это лестницы, тараны, неделя возни и половина отряда в земле. А факел кинул — и дальше пошёл. Земля ему без надобности, он её не удержит, даже не собирается. Ему надо, чтобы Филипп Валуа перед своими же баронами голым остался — вот, мол, земля твоя, а защитить не можешь. Дым — это он так им говорит, без грамот и печатей.

— А те, кто в деревнях? — спросил Симон.

— А тем без разницы, живы они королю или нет, — ответил Пейре, не отрываясь от кости. — Ты мясника когда-нибудь спрашивал, жалко ли ему баранов? Вот и тут так же.

Симон промолчал, но той ночью, лёжа без сна, он впервые ясно понял то, что до сих пор чувствовал лишь смутно: то, что случилось с Сен-Клер-де-л'Иль, не было безумием или случайностью. Это был метод. Кто-то придумал его и взвесил его цену в звонкой монете и человеческом горе.

* * *

Своё первое настоящее убийство Симон совершил на пятый день после Кана, и оно не было тем, о чём он мечтал по ночам, воображая, как встретит русобородого всадника с волком на груди. Оно было ещё и его собственной ошибкой — первой из многих, которые ему предстояло совершить, прежде чем осторожность станет привычкой, а не запоздалой мыслью.

В то утро Оливье хотел обойти брошенную мельницу под Лизьё стороной — что-то в примятой траве у дороги ему не понравилось, — но Симон, продрогший за третью бессонную ночь под дождём, настоял на коротком привале внутри, у сухих стен, вместо открытого поля, и, не дождавшись разрешения, развёл в очаге маленький огонь, чтобы высушить одежду. Тонкая нить дыма поднялась над трубой пустой мельницы дальше, чем Симон мог тогда представить.

Двое английских мародёров, отбившихся от своей роты, пришли на этот дым, приняв его за лёгкую находку — крестьянский очаг, брошенный хутор, безоружного юнца и потрёпанного старика. Ошибка стоила одному из них жизни: Оливье уложил первого ударом кинжала под ребро прежде, чем тот успел договорить угрозу. Второй бросился на Симона с топором, занёс его для удара — но сапог мародёра разъехался в раскисшей от дождя глине, замах сбился, и лезвие прошло мимо, лишь располосовав рукав куртки. Потеряв равновесие, мародёр рухнул вперёд, увлекая за собой и Симона, и оба повалились в грязь у мельничного колеса, сцепившись так тесно, что топор оказался бесполезен, а Симон не мог толком отползти. Он не помнил, как нож — тот самый, что дал ему Оливье в первый вечер, — оказался у него в руке. Он бил вслепую, наугад, три или четыре раза подряд, куда придётся, в грязи и чужой крови, пока тяжесть сверху не осела и не перестала двигаться. Только потом, отдышавшись, он увидел, что попал в шею — случайно, просто так легло тело, вовсе не потому что целился.

Тёплая кровь на пальцах оказалась совсем не такой, как он себе это воображал. Не было ни триумфа, ни ужаса — только оглушительная, пустая тишина внутри, будто что-то, что раньше заполняло его целиком, вдруг схлопнулось в точку.

— Это никогда не становится легче, — сказал Оливье позже, когда они делили нехитрую добычу мертвецов — несколько монет, кусок вяленого мяса, приличный нож. — Тот, кто говорит, что становится, либо лжёт, либо перестал быть человеком. Ты выбрал первое, юноша. Это не так плохо, как кажется в первую ночь.

— Он мог быть тем, кто сжёт нашу деревню.

— Мог. — Оливье пожал плечами. — Но не был. Ты убил человека, который хотел убить тебя. Это справедливость мельницы, а не справедливость правосудия. Не путай эти вещи, иначе ты будешь убивать всю жизнь и ни разу не почувствовать, что подошёл ближе к тому единственному, кого действительно ищешь.

— Прости, — сказал вдруг Симон, глядя на угасающий очаг. — За дым. Я знал, что нельзя разводить огонь, — и развёл.

— Знал и всё равно развёл, — повторил Оливье без злобы, но и без снисхождения. — Запомни это ощущение, юноша, лучше, чем ты запомнишь его лицо. Не то, что ты замёрз и устал, — замёрзшим и уставшим ты будешь ещё сотню раз. А то, что усталость показалась тебе достаточной причиной, чтобы не послушать человека, который прожил дольше и видел больше. В следующий раз это может стоить не рукава, а горла — твоего или моего. Мир не наказывает за глупость сразу, юноша. Он ждёт, копит счёт, а потом предъявляет его весь целиком, в самый неподходящий момент.

В последующие дни Оливье стал жёстче в тренировках — не со зла, а как кузнец, который, обнаружив трещину в металле, начинает бить сильнее, чтобы выявить её до того, как она подведёт в бою. Он будил Симона среди ночи без предупреждения, проверяя, как быстро тот способен схватить нож и сориентироваться в темноте; заставлял по несколько раз повторять путь через лагерь с закрытыми глазами, ориентируясь на запахи костров и звук голов; однажды нарочно оставил на тропе перед их стоянкой сломанную ветку, а утром спросил Симона, заметил ли он что-то по дороге, и, услышав, что нет, не сказал ни слова упрёка — просто указал на ветку молча, и этого оказалось достаточно любой отповеди.

Симон роптал — не вслух, но Оливье, судя по всему, читал это в его лице так же ясно, как читал следы на земле.

— Ты злишься, что я гоняю тебя за ошибку недельной давности, — сказал он как-то, не оборачиваясь. — Злишь. Злость не мешает тебе слушать, если ты не дашь ей заглушить уши. Помешает тебе только то, что ты решишь, будто один урок, выученный один раз, достаточен на всю жизнь. Он не достаточен. Он никогда не достаточен.

Слова засели в Симоне глубже, чем он показал. Он начал понимать: месть, которую он носил в себе с того утра на пепелище, требовала не просто крови — любой крови, — а крови одного конкретного человека. И для того чтобы найти этого человека среди десяти тысяч, шедших под флагами двух корон, ему понадобится не ярость, а терпение. Терпение и уши, готовые слушать.

В последующие дни Оливье, к удивлению Симона, не возвращался больше к разговору о мельнице — ни упрёком, ни похвалой, — а вместо этого начал учить его читать следы на дороге: сколько всадников прошло, как давно, тяжело ли гружены были их кони, свежий ли помёт или подсохший. — Земля помнит дольше, чем люди, юноша, — говорил он, приседая у обочины и проводя пальцем по едва заметной вмятине в пыли. — Человек соврёт тебе из страха или из выгоды. След не врёт никогда, потому что ему нечего терять.

Симон, всё ещё носивший в себе тяжесть первого убийства, нашёл в этом новом уроке неожиданное облегчение — что-то, требующее не силы и не крови, а терпеливого, почти кузнечного внимания к мелочам, того самого внимания, с каким его отец когда-то выбирал, под каким углом бить по раскалённому металлу, чтобы шов лёг ровно. К исходу недели он уже мог с уверенностью сказать, сколько всадников прошло по дороге накануне и в какую сторону они направлялись, — небольшое, но настоящее умение, первое, которое он освоил не из необходимости выжить в следующую минуту, а как ремесло, которое можно оттачивать не спеша, урок за уроком.

* * *

Между мельницей под Лизьё и переправой через Сену пролегли почти две недели пути, и эти недели дались лагерю тяжелее, чем любая стычка с французским разъездом. Летняя жара сменялась духотой, а духота — внезапными ливнями, после которых обозные колеи превращались в вязкое месиво, засасывающее сапоги по щиколотку; в такие дни армия теряла больше повозок в грязи, чем в бою. Дизентерия, которую солдаты между собой звали просто «лагерной хворью», не разбирая, косила и латников, и маркитанток, и детей, прибившихся к обозу вместе с матерями, — и Симон, проходя мимо очередной наспех вырытой ямы для тех, кто не

пережил ночь, всякий раз ловил себя на мысли, что война убивает не только клинком, и что эта, вторая, безымянная смерть пугает его едва ли не больше первой.

Пейре в те недели слёг на два дня с лихорадкой, и Оливье, вопреки своей обычной сдержанности, без единого слова взял на себя часть его обязанностей у соседнего костра — чинил чужую упряжь, делился хлебом с гасконцем, который в другое время сам делился бы с ним, — и когда Симон удивлённо спросил, зачем он это делает для человека, которому ничем не обязан, Оливье ответил коротко: «Долги проще отдавать заранее, юноша, чем потом искать способ загладить то, что не успел». Симон запомнил эти слова крепче многих других — они звучали не как урок выживания, а как некое подобие кодекса, единственного, что Оливье, кажется, ещё для себя признавал.

* * *

Через Сену армия переправилась у Пуасси в середине августа, после того как обнаружила разрушенные мосты по всему течению реки и была вынуждена чинить один из них под носом у французского ополчения, собранного, но не решившегося атаковать. Симон видел саму починку моста своими глазами — не издалека, а вблизи, потому что Оливье, всегда ищущий способ оказаться полезным тем, кто платит, предложил его руки плотникам, разбиравшим ближайшие дома на брёвна для настила. Работа была знакомой по духу, хоть и непривычной по материалу — не железо, а дерево, не молот, а топор, — и всё же в самом ритме труда, в чередовании удара и паузы, Симон нашёл что-то узнаваемое, почти утешительное, посреди всеобщей спешки. Французские застрельщики на другом берегу время от времени пускали стрелы через реку, не столько чтобы попасть, сколько чтобы напомнить о своём присутствии, и плотники работали, пригибаясь между ударами топора, а один, немолодой уже человек по имени Робен, получил стрелу в плечо и продолжал стучать топором здоровой рукой, пока бригадир не отправил его силой к лекарям, обругав за упрямство и в то же время явно им гордясь.

Симон видел издалека дым над Сен-Жермен-ан-Ле — ещё один город, ещё одно письмо, написанное золой, — и впервые заметил, что перестал считать сожжённые селения. Их стало слишком много, чтобы держать счёт, не сходя с ума.

Именно там, в лагере у переправы, среди тысяч костров, растянувшихся вдоль берега, Симон впервые услышал имя, которое он позже будет вспоминать как первый шаг долгой дороги.

Не имя человека. Прозвище.

Двое латников, гасконцы на английской службе, судя по говору, спорили у соседнего костра о дележе добычи с недавнего рейда в сторону Эврё.

— Волк опять забрал себе лучшую долю, — проворчал один, обгладывая кость почти так же, как Пейре несколькими днями раньше. — Он всегда идёт первым, жжёт первым, и добыча первая — тоже его. Наш капитан делится с людьми, только когда ему это выгодно.

— Так он и заслужил своё прозвище не за красивые глаза, — усмехнулся второй. — Говорят, под Кутансом он спалил три деревни за один день, чтобы граф Уорик не успел решить, идти вперёд или разбить лагерь. Волк не ждёт приказа. Волк создаёт причину для приказа.

Симон, сидевший в тени у соседнего костра — достаточно близко, чтобы слышать, достаточно далеко, чтобы не быть замеченным, — почувствовал, как что-то внутри него натянулось, как тетива.

Волк. Капитан. Гасконец на английской службе, который жжёт деревни быстрее, чем требуется по приказу.

Это могло быть совпадением. Гасконцев на службе английской короны хватало, и не один из них носил звериное прозвище с гордостью человека, который зарабатывает страхом больше, чем мечом. Но что-то в тоне латника — презрение вперемешку с завистью, каким солдаты говорят о том, кто превзошёл их в собственном ремесле, — заставило Симона запомнить каждое слово так, будто он выковывал их в металле.

Он не подошёл к костру. Он не задал вопроса. Оливье, годы спустя, скажет ему, что это и было первым настоящим уроком, который Симон усвоил сам, без подсказки: терпение стоит дороже спешки, а слух, за которым не гонятся, доносит больше правды, чем допрос.

Той ночью, лёжа рядом с Оливье под звёздами, чужими для нормандца, привыкшего к дыму родного очага, а не к дыму сожжённых чужих домов, Симон впервые за все эти недели не думал о матери, не думал об отце. Он думал об одном слове.

Волк.

До настоящего имени — того, что свяжет прозвище с человеком, с русой бородой и с гербом на груди, — оставалось не так уж много дороги, хотя в ту ночь Симон видел только следующий шаг: не бой, а разговоры у чужих костров, среди людей, которые ненавидели Волка почти так же, как он сам, просто по другим причинам.

Он рассказал Оливье о подслушанном разговоре только на следующее утро, за скучным завтраком из чёрствого хлеба, — не из недоверия, а из желания сперва проверить слово на собственный вес, прежде чем делиться им с кем-то ещё, даже с человеком, который стал ему ближе всех оставшихся в живых.

Оливье выслушал его, не прерывая, — редкость, которую Симон уже научился ценить, — а когда Симон закончил, долго молчал, вертя в пальцах кусок хлеба, так и не поднеся его ко рту.

— Ты не подошёл к костру, — сказал он наконец, и это не было вопросом.

— Не подошёл.

— Хорошо. — В голосе Оливье прозвучали нотки одобрения, редкие и оттого весомые. — Большинство юнцов на твоём месте вскочили бы и потребовали ответа немедленно, а после — гадали бы всю оставшуюся жизнь, почему их выбросили из лагеря с ножом под рёбрами. Ты подождал. Это либо врождённое, либо я хуже учу тебя, чем думал, потому что такому не учат за месяц.

— Я просто... — Симон замялся, подбирая слова для того, что чувствовал, но ещё не умел назвать. — Я понял, что если я испугаю его прежде, чем найду, он спрячется, как лиса, почуявшая капкан. А я хочу не испугать. Я хочу, чтобы он не успел испугаться.

Оливье посмотрел на него долгим, оценивающим взглядом и коротко кивнул, будто соглашаясь с чем-то, что до сих пор держал при себе.

— Тогда ты уже опаснее, чем сам думаешь, юноша. Береги это качество. И береги от него самого себя — оно точно так же легко превращает человека в того, кого он ищет, как и помогает его найти.

Утром армия снова двинулась на север. Симон шёл вместе с ней, и впервые с того дня на пепелище цель была не просто болью, гнездящейся в груди, — она стала маршрутом.

ГЛАВА 4. Волк без имени

Расспрашивать напрямую было нельзя — это Симон понял быстро, ещё до того, как Оливье сказал ему об этом вслух.

— В таком лагере, как этот, — объяснил Оливье на второй день пути от Пуасси, когда армия втягивалась в холмистый Вексен, а за спиной уже маячили французские разъезды, следившие за ними, но не решавшиеся напасть, — вопрос стоит дороже ответа. Спросишь в лоб, кто такой Волк, — и уже через час десять человек будут знать, что тобой интересуется мальчишка с ножом кузнеца. А если Волк хоть немного похож на человека, каким я его себе представляю по тому, что уже слышал, у него есть уши повсюду, где есть кому шептать за монету.

— Тогда как?

— Слушай. Не спрашивай — слушай. Люди сами расскажут тебе всё, что тебе нужно, если дать им повод говорить не о том, о чём спросили, а о том, чем они гордятся или чего боятся. Спроси гасконца о родине — он расскажет тебе о капитанах, которых знает, просто

чтобы похвастаться, что знаком с важными людьми. Спроси лучника о добыче — он расскажет, кто делится честно, а кто нет, и почему.

Симон запомнил это так же твёрдо, как запоминал урок о том, куда бить ножом. Следующие дни он провёл, оттачивая новое ремесло — не менее опасное, как оказалось, чем ремесло убийства, просто опасность в нём была медленнее и хитрее.

Первая его попытка получилась неуклюжей до крайности. Он подсел к костру двух латников-валлийцев, которых прежде видел лишь издали, и, вспомнив совет Оливье, попытался завести разговор о родных горах — но сделал это так прямо и неловко, что один из валлийцев тут же спросил, уж не подослан ли он выведать что-то для чужого капитана, и Симону пришлось спешно ретироваться под смех, каким провожают неумелого щенка, впервые сунувшегося в чужую свору.

— Ты спросил слишком быстро и слишком в лоб, — сказал Оливье вечером, выслушав его рассказ без тени злорадства, хотя губы его дрогнули в намёке на усмешку. — Разговор — это не колодец, из которого можно зачерпнуть сразу, ведро на верёвке. Это скорее наковальня: ты подводишь металл постепенно, ударами, а не одним рывком, иначе он треснет, а не примет форму.

— Тогда покажи, как надо.

Оливье в тот же вечер сам подсел к чужому костру — не валлийцев, а группы английских лучников, — и Симон, наблюдая издали, увидел, как учитель за какой-то час, не задав ни единого вопроса напрямую, выяснил у них имена трёх капитанов, маршрут завтрашнего перехода и слух о том, что где-то в обозе прячется беглый монах, выдающий себя за лекаря. Он не спрашивал ничего из этого — он просто хвалил их луки, интересовался, откуда тис, и слушал, слушал, пока они сами, гордясь собственным ремеслом, не выложили ему вдесятеро больше, чем он бы получил прямым допросом.

— Видишь разницу? — спросил он потом, вернувшись. — Я не выводил. Я позволил им учить меня, а люди обожают учить тех, кто умеет слушать. Попробуй снова завтра. И после завтра. Это ремесло, как любое другое, — оно не даётся с первого удара молотом.

Симон попробовал снова на следующий вечер — на этот раз с молодым латником-англичанином, чинившим у костра порванный подшлемник, и начал не с прямого вопроса, а с похвалы его умения обращаться с иглой, неуклюже скопированной у Пейре тактики. Латник, польщённый неожиданным вниманием, разговорился о доме в Чешире, о невесте, ждавшей его возвращения, и, между делом, о капитанах, под началом которых успел послужить, — среди них он назвал имя лорда Уорика и обмолвился, что слышал о каком-то гасконском отряде под его началом, который держится особняком от прочих и делится трофеями неохотно.

Симон не выдал своего волнения ни единым словом, только кивал и задавал новые, столь же безобидные вопросы, — и когда позже пересказал разговор Оливье, тот впервые за все недели обучения посмотрел на него с чем-то похожим на настоящую гордость, не скрытую за обычной сдержанностью.

— Вот так, — сказал он просто. — Именно так. Ты только что узнал больше за один вечер у чужого костра, чем узнал бы за неделю прямых расспросов, и никто из тех, с кем ты говорил, даже не заподозрил, что его слушали не из вежливости. Это ремесло теперь твоё, юноша, не только моё. Помни, чего оно тебе стоило, когда будешь учить ему кого-то другого, если доживёшь до такого дня.

Пейре оказался неиссякаемым источником, сам того не подозревая. Гасконец любил поговорить о землячестве — о том, кто из его краёв служит какому лорду, кто разбогател, кто сгинул под Кагором ещё во времена первых стычек, — и за неделю разговоров, ведённых как бы невзначай, у костра, за починкой упряжи, Симон собрал столько же сведений, сколько не собрал бы и за месяц прямых расспросов.

Капитан по прозвищу Волк служил под началом английского лорда — не то графа Уорика, не то одного из его подручных баннеретов, точно Пейре не знал, — командовал полутора сотнями латников и лучников, набранных в основном из Гаскони и Наварры, людей без родины в полном смысле слова, для которых любая корона была временным нанимателем, а не сюзереном по крови. Ходили слухи, что сам Волк не всегда был наёмником — что где-то в его прошлом была настоящая рыцарская шпора, потерянная то ли за долги, то ли за преступление, о котором предпочитали не говорить вслух.

— Одни говорят — он убил своего сеньора, — сказал Пейре как-то вечером, понизив голос, хотя рядом никого не было. — Другие — что просто разорился и продал свою честь тому, кто больше платил. Я в это не лезу. У каждого рутье есть история, которую лучше не спрашивать, — у меня тоже есть, и я о ней молчу.

— А как его зовут? — спросил Симон, наконец решившись, тщательно выбрав момент — тон скучающий, вопрос как бы между делом, брошенный в паузу разговора о другом.

Пейре пожал плечами.

— Волк — и всё, что я знаю точно. Настоящее имя знают немногие, а те, кто знает, не спешат его называть: не забывчивость тому виной, а суеверие — называть его вслух в этих краях считается плохой приметой. Спроси у раненых из его роты, если найдёшь такого, что ещё может говорить. Они знают больше, чем хотят показать.

— Ты его видел сам? — спросил Симон, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно, хотя каждое слово отдавалось в груди гулким ударом.

— Издали, один раз, под Валонью. — Пейре понизил голос, и весь его обычный балагурский тон на миг исчез, уступив место чему-то более тяжёлому. — Его рота шла мимо нашей, и он ехал впереди — не торопясь, будто на воскресной прогулке, а за ним волокли на верёвке пленного, старика, который не мог больше идти в ногу с лошадьми. Волк не остановился и не приказал его прирезать быстро, из милосердия. Он просто позволил тащить его так, пока тот не перестал шевелиться. Я тогда подумал — вот человек, которому нравится не убивать, а смотреть, как это происходит медленно. Такие хуже прямых убийц, кузнец. Прямой убийца хотя бы торопится.

Симон промолчал, чувствуя, как к горлу подступает что-то горячее и вязкое, не похожее ни на страх, ни на обычный гнев, — что-то более холодное и более постоянное, чему предстояло стать спутником на много лет вперёд.

— Зачем тебе всё это? — спросил вдруг Пейре, впервые за разговор посмотрев на Симона прямо, без обычной своей балагурской рассеянности.

— Любопытство, — солгал Симон, вспомнив урок Оливье о цене прямых вопросов.

Пейре хмыкнул, явно не поверив ни единому слову, но не стал настаивать — таков был негласный уговор между людьми войны, у каждого из которых была своя история, которую лучше не трогать без приглашения.

— Любопытство до добра не доводит, кузнец, — сказал он только, возвращаясь к починке упряжи. — Но и я в твои годы был любопытным. Гляди не помри от этого раньше срока.

* * *

Французские разъезды, о которых Оливье не раз предупреждал, следовали за армией на почтительном расстоянии весь путь от Пуасси, появляясь на гребнях холмов небольшими группами всадников — достаточно многочисленными, чтобы напугать обоз, и достаточно осторожными, чтобы не ввязываться в бой с превосходящими силами. Однажды вечером один такой разъезд подошёл ближе обычного, и по лагерю прокатилась волна тревоги — крики, беготня, кто-то начал спешно грузить повозки, готовясь бежать прямо в темноту.

Оливье не тронулся с места, продолжая точить нож с прежней методичностью, и только когда Симон, встревоженный общей паникой, схватился за собственный клинок, остановил его коротким жестом.

— Разъезд в дюжину всадников не нападает на лагерь в десять тысяч человек, юноша, — сказал он, не поднимая глаз от работы. — Они здесь, чтобы смотреть и считать, а не чтобы драться. Паника — это то, что случается с людьми, которые не научились отличать разведку от атаки. Смотри на конников внимательно: они держат копья вертикально, не готовят их к удару. Это значит — сегодня они просто нас пересчитывают, чтобы доложить своему королю, сколько нас и куда мы идём.

Ночью тревога улеглась, разъезд ушёл, никто не пострадал.

* * *

На третий день после того случая, когда колонна втягивалась в холмистый Вексен, Оливье разговорился с беглым крестьянином — тощим, пугливым человеком, потерявшим дом где-то под Мант, — который за несколько монет пообещал короткую лесную дорогу, срезающую добрый десяток миль петляющего пути армии и выводящую напрямик к следующему привалу на день раньше обоза. Оливье, обычно не доверявший ни одному слову, сказанному за монету, на этот раз поверил — то ли потому, что крестьянин не поднимал глаз, как говорят люди, которым нечего продать, кроме правды, то ли потому что сам устал от медлительности похода не меньше, чем Симон устал от неизвестности.

— Выиграем день, юноша, — сказал он, отсчитывая крестьянину мелочь из их скудного запаса. — День — это лишняя костёр, у которого можно послушать, что говорят люди.

Они свернули с обозной колеи на закате следующего дня, оставив позади безопасность растянутой на много миль армии. Тропа, обещанная крестьянином, оказалась достаточно натоптанной, чтобы не вызвать подозрений, — пока не вывела их в неглубокий, заросший орешником овраг, где их уже ждали: не французский разъезд, а шестеро или семеро дезертиров-мародёров, из тех, что нарочно вытаптывают такие короткие пути для доверчивых путников, оторвавшихся от колонны.

Схватка была короткой и грязной — не размеренным поединком, каким Оливье учил Симона у костра, а свалкой в кустах, где никто толком не видел, кого бьёт. Симону расположились предплечье ножом, которого он даже не разглядел в сумерках, а Оливье, прикрывая его отход к тропе, получил удар в бок — неглубокий, но достаточный, чтобы после боя он долго сидел, зажимая рану ладонью и морщась при каждом вдохе. Мародёры, не ожидавшие сопротивления, разбежались, прихватив с собой немного, что нашли, — дорожный мешок с остатками вяленого мяса и, хуже всего, кошелек с монетами, накопленными за недели пути.

К своей армии они выбрались только на рассвете, потеряв не день, как обещал крестьянин, а почти два — и почти всё, что имели сверх оружия на плечах.

— Прости, — сказал Оливье, когда они наконец сели у чужого костра, одолженного соседями по колонне, и кто-то из латников молча протянул им флягу с разбавленным вином для раны. Он сказал это просто, без обычной своей манеры превращать всё в урок. — Я хотел сократить тебе дорогу и не проверил, чего она будет стоить. Человек, который не смотрит в глаза, не всегда лжёт, но и не всегда говорит правду. Я должен был помнить разницу — и не вспомнил.

— Ты не мог знать заранее, — начал Симон, но Оливье покачал головой.

— Мог. Я слишком долго хожу этой дорогой, чтобы позволять себе такие ошибки. — Он помолчал, перевязывая бок обрывком чужой рубахи. — Даже старый пёс иногда бежит на запах, а не по следу, юноша. Помни это обо мне так же твёрдо, как помнишь всё остальное, чему я тебя учил. Я не всегда прав. Я просто ошибаюсь реже, чем большинство, и стараюсь ошибаться на том, что можно пережить.

Это была не самая тяжёлая потеря на их пути, но самая унижительная — не рана и не голодный день впереди, а само понимание, что человек, чьей рассудительности Симон доверял без остатка, может ошибиться так же просто, как сам Симон ошибся когда-то у мельницы под Лизьё.

* * *

Дни между Пуасси и Бове слились для Симона в одну и ту же пыльную ленту дороги. Август жёг без дождя, обозные колеи стояли колом, растёртые в порошок тысячами ног, и этот порошок оседал на зубах, на веках, забивался в швы одежды так плотно, что вечерами Симон вытряхивал из сапог не пыль даже, а нечто похожее на серую муку. Ноги, привыкшие к кузнице, а не к дороге, покрылись волдырями, потом мозолями, потом чем-то средним между тем и другим, что уже не болело днём и напоминало о себе только по ночам, тупой пульсирующей тяжестью. Люди вокруг шли молча — не от усталости даже, а оттого что разговор отнимал дыхание, которое лучше было беречь для следующей мили. Только вечером, у костров, лагерь снова оживал голосами, и Симон терпеливо ждал этих часов, зная, что именно в них, а не в дневном молчании марша, прячутся крупницы того, что он искал.

Такой человек нашёлся через три дня, в Бове, точнее — на дороге за ним, где после стычки арьергарда с французским разъездом осталось несколько раненых, брошенных отступающей ротой умирать там, где они упали, потому что армия не могла позволить себе тащить за собой тех, кто уже не мог держать оружие.

Один из них — молодой гасконец, годами не старше самого Симона, с разорванным боком и лихорадкой, уже мутившей его взгляд, — лежал под изгородью, куда его оттащили то ли из жалости, то ли просто чтобы не мешал дороге. Оливье, проходя мимо, остановился — не из сострадания, как понял Симон много позже, а из практичности человека войны, знающего, что умирающий откровеннее живого.

Симон опустился на колено рядом, глядя на рану в боку раненого — рваную, чёрную от запёкшейся крови, с которой уже не сходили мухи, несмотря на то что день только начинался, — и почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, знакомая ещё с того утра за амбаром, только притупившаяся за месяцы пути до глухого, привычного эха. Раненый застонал, когда Оливье осторожно повернул его, чтобы напоить, и в этом стоне было столько отработанной, механической боли, что Симон впервые с ясностью подумал: вот что война делает с человеком под конец — не оставляет ему даже сил кричать по-настоящему, только эту усталую, размеренную жалобу тела, которое уже почти сдалось.

— Как звать твоего капитана? — спросил Оливье, присев рядом и поднеся флягу с водой к губам раненого — не милосердие, а плата за ответ, и раненый, судя по тому, как жадно он пил, это понимал не хуже.

— Волк, — прохрипел гасконец. — Все его так зовут, даже те, кто боится.

— А имя, которое дали при крещении?

Раненый закрыл глаза, дыша тяжело и часто, — то ли собирался с силами, то ли решал, стоит ли ответ ещё одного глотка воды.

— Робер, — сказал он наконец. — Робер... что-то на «Го». Не помню точно. Мы его не по имени зовём. Имя — для тех, кто равен ему. Мы — нет.

У Симона перехватило дыхание, будто его ударили под рёбра, — первый раз имя, настоящее, не прозвище, произнесено вслух, пусть обрывком, пусть неполным. Робер. Что-то на «Го».

— Где его застать? — спросил он резче, чем хотел, и Оливье бросил на него быстрый предупреждающий взгляд — слишком резко, слишком жадно, так не спрашивают о человеке, которым просто интересуются.

Раненый закашлялся кровью и не ответил сразу — а когда собрался с силами вновь, взгляд его прояснился достаточно, чтобы увидеть в глазах Симона то, что там было все эти недели.

— Не любопытствуешь ты, — выдавил он, дыхание рваное, со свистом. — Знаю такое лицо... у самого был счёт. Не заплачу уже. — Он закашлялся, сплюнул кровью на траву, помолчал, собираясь с силами. — Хочешь его — вставай в очередь, парень, пол-Нормандии таких

наберётся. Только... с ножом в рукаве к нему не лезь. Учует. Он таких носом чует, живо. И тогда — некому будет тебя помянуть.

Он умер тем же вечером, до того как Оливье и Симон успели устроить его хоть немного удобнее. Симон выкопал ему неглубокую могилу у дороги, сам не зная точно почему — то ли из благодарности за имя, то ли потому что не мог больше видеть, как война оставляет тела там, где они упали, будто это не люди, а сломанные телеги.

Он не знал слов отходной молитвы — в Сен-Клер-де-л'Иль этим всегда занимался кюре, а не кузнецовы дети, — и потому просто постоял над свежим холмиком земли, не в силах уйти сразу: этот безымянный для него гасконец, отдавший последний вздох на клочок правды о человеке, которого Симон искал, заслуживал большего, чем поспешный уход. — Спасибо, — сказал он тихо, зная, что мёртвый его не услышит, но чувствуя, что сказать это всё равно нужно, хотя бы ради себя самого. Оливье не торопил его и на этот раз, как не торопил у тела Гийома Ла Круа месяцем раньше, — будто понимал, что каждая такая минута молчания над чужой могилой была ещё и минутой над собственной, ещё не выкопанной.

* * *

— Робер, — повторил Оливье вечером у костра, когда Симон рассказал ему то небольшое, что удалось сложить воедино за прошедшие недели: прозвище, службу у английского лорда, гасконское происхождение, обрывок имени. — Что-то на «Го». Гокур? Годфруа? Слишком много возможностей, юноша, а Гасконь полна фамилий на этот слог.

— Значит, мы всё ещё ничего не знаем.

— Мы знаем больше, чем знали месяц назад. — Оливье покачал головой, глядя в огонь долгим взглядом, обращённым не столько наружу, сколько внутрь, к чему-то своему, старому, не связанному с Симоном напрямую. — Есть люди, которые могут знать точно. Не в этом лагере — в командовании. Оруженосцы знатных лордов знают все имена, что возвращаются вокруг их господ, потому что от этого зависит, кому кланяться, а кого можно не замечать. Если рота Волка правда служит под Уориком, нужен кто-то, кто вхож туда, куда нам путь заказан.

— У тебя есть такой человек?

Оливье потёр шрам над бровью — жест, который Симон уже научился узнавать: так учитель тянул время, когда ответ был неприятен ему самому.

— Был когда-то один оруженосец. — Оливье произнёс это неохотно, будто отпирал дверь, которую предпочёл бы держать закрытой. — Под Морле, в Бретани, шесть лет назад, когда я ещё носил не только имя рыцаря, но и то, что к нему прилагалось. Наш отряд отступал, и мальчишка-оруженосец упал под собственным конём в самой гуще свалки — я вытащил его, хотя мог проехать мимо, и никто бы меня не осудил за это. Из прошлой жизни, о которой я не люблю вспоминать, это единственное, что я вспоминаю без стыда. Он мой должник, хоть и не любит об этом вспоминать. Если он всё ещё жив и всё ещё служит при английском дворе — а после Кана я слышал, что он в свите самого Уорика, — он мог бы назвать нам имя за один вечер, вместо того чтобы мы собирали его по каплям месяцами.

— Тогда почему мы ещё не пошли к нему?

— Потому что долги — вещь опасная, юноша. — Оливье впервые за вечер посмотрел на Симона прямо, и в серых глазах читалось предупреждение. — Стребовать долг с человека — значит показать ему, что тебе от него что-то нужно, а нужда делает тебя слабее в его глазах, даже если он тебе обязан жизнью. Я берёг эту монету на случай, когда она понадобится больше, чем сейчас. Но, кажется, этот случай настал.

Он поднялся, отряхивая плащ от дорожной пыли, и впервые с того утра на пепелище в его голосе прозвучало что-то похожее на решимость, равную решимости самого Симона.

— Завтра мы отклонимся от общего пути и найдём ставку графа Уорика. Если Гуго де Лонгваль всё ещё дышит и всё ещё помнит, чем он мне обязан, у Волка наконец появится имя.

— Каким он был? — спросил Симон, пока они готовились устраиваться на ночь. — Гуго. До того как стал оруженосцем Уорика.

Оливье ответил не сразу, глядя на угасающий костёр — не тем долгим, задумчивым взглядом, каким смотрел обычно, а коротко: воспоминание было, судя по всему, слишком острым, чтобы задерживаться на нём дольше мгновения.

— Испуганным мальчишкой, как и все оруженосцы в свой первый настоящий бой. Умным не по годам, но слишком честным для того мира, в который его готовили войти, — мира, где честность стоит дешевле хорошего коня. Я не знаю, каким он стал за эти шесть лет. Люди меняются на этой войне быстрее, чем их успевают запомнить те, кто их знал раньше. Может, он теперь такой же, каким был. Может, война обточила его так же, как обточила меня. Завтра узнаем.

— А если он откажет?

— Тогда мы узнаем это тоже, и придётся искать другой путь, длиннее и медленнее. — Оливье пожал плечами с деланным безразличием, которое не обмануло Симона ни на мгновение. — Долг — не вексель у менялы, юноша. Его нельзя требовать силой. Можно только напомнить о нём и надеяться, что человек, которому напомнили, ещё помнит, чем был обязан.

Симон не спал в ту ночь — не от горя, как в первые недели после пожара, а от чего-то более острого и живого, чему он ещё не знал названия. Может быть, это была надежда. Может быть — просто голод, о котором говорил умирающий гасконец, голод, который он теперь не пытался прятать даже от самого себя.

Имя было уже почти в его руках. Оставалось протянуть их чуть дальше.

ГЛАВА 5. Имя

Они покинули основной лагерь ещё затемно, обойдя стороной длинные вереницы обозных телег, которые в этот час только начинали скрипеть колёсами навстречу новому дню марша, — Оливье вёл Симона короткими тропами, которые, казалось, помнил на ощупь, хотя не был в этих местах много лет. Утренний туман, поднимавшийся от близкой реки, стелился над полями низко, по колено, и в нём фигуры редких пастухов, гнавших уцелевший скот подальше от дороги войны, казались призраками, а не живыми людьми.

— Ты бывал здесь раньше? — спросил Симон, когда Оливье в очередной раз свернул на едва заметную тропу между двумя перелесками, ни на миг не замедлив шаг.

— Однажды, очень давно, в другой жизни. — Оливье не пояснил, что имеет в виду, и Симон, уже усвоивший, когда вопрос упрётся в закрытую дверь, не стал настаивать. — Земля меняется медленнее, чем люди на ней, юноша. Реки текут там же, где текли раньше, даже если деревни на их берегах сгорели дотла. Это единственная карта, которой я всегда доверял больше, чем любой, начерченной на пергаменте.

К полудню они вышли на возвышенность, откуда открывался вид на растянувшийся внизу английский лагерь, — Симон впервые увидел его целиком, не изнутри, где виден только ближайший костёр и ближайшая палатка, а сверху, как видит его, должно быть, сам полководец: тысячи шатров, ровные линии обоза, дымки костров, сливающиеся в одну сизую пелену над всей долиной. От этого вида у него на миг перехватило дыхание — не восхищением, а внезапным ощущением того, как мала его собственная деревня рядом с этим.

Лагерь графа Уорика начинался там, где заканчивался хаос обоза, — резкая граница, будто кто-то провёл её ножом по земле. Здесь шатры стояли ровными рядами, здесь пахло не мочой и прогорклым салом, а начищенной кожей и лошадьми, здесь часовые смотрели на приближающихся не с усталым безразличием, а с профессиональной подозрительностью людей, которым платят за то, чтобы они подозревали.

За спинами часовых Симон разглядел ряды шатров разного достатка — от скромных холщовых укрытий простых рыцарей-одноштитников до полосатых павильонов знатных банне-

ретов, увенчанных флюгерами с гербами, которые Симон не умел прочесть, но безошибочно чувствовал их вес — тяжесть чужого высокомерия, вплетённую в самую ткань. У коновязи оруженосцы чистили боевых коней скребницами с той же тщательностью, с какой в Сен-Клер-де-л'Иль хозяйки чистили праздничную посуду перед Пасхой, а неподалёку двое молодых сквайров упражнялись в фехтовании затупленными мечами под присмотром пожилого мастера оружия, то и дело прерывавшего их резкими окриками на нормандском французском, куда более чистом, чем тот, что Симон слышал в обозе. Здесь, за этой невидимой чертой, война выглядела иначе — не грязью и голодом, а ритуалом, отполированным поколениями тех, кому не приходилось спрашивать, будет ли завтра хлеб. Симон подумал о матери, о том, как она однажды сказала ему, что бог создал знатных и простых из разной глины, — и о том, как сильно теперь, после Сен-Клер-де-л'Иль и Кана, он в этом сомневался: глина была одна и та же, просто одних учили её беречь, а других — сгорать первыми.

— Держись позади и молчи, — сказал Оливье, когда они подошли к первому кордону. — Здесь моё имя ещё кое-что стоит, но не настолько, чтобы прикрыть нас обоих, если ты откроешь рот не вовремя.

Симон кивнул, чувствуя, как непривычно тяжело молчание давит на грудь именно сейчас, когда цель была так близко, — за месяцы пути он научился многому, но не научился ещё сдерживать нетерпение перед самой развязкой, которое горело в нём куда сильнее, чем перед любой дракой на ноже. Он оглядел собственную одежду — заплатанную, пропылённую, пропахшую дымом и потом стольких дорог, что запах этот, казалось, впитался в саму кожу, — и, кажется, впервые с начала их странствия устыдился её вида, не за себя, а за Оливье, которому предстояло являться в мир, откуда его когда-то изгнали, в обличье нищего бродяги.

Он назвал себя часовому — не «Оливье, вольный наёмник», а «Оливье де Шатильон, некогда рыцарь дома Танкарвиль» — и в этом имени, произнесённом с прямой спиной и без тени заискивания, Симон впервые увидел, каким был его учитель до того, как война обглодала с него всё, кроме умения выживать. Часовой заколебался, послал кого-то с докладом, и через долгое, вязкое от ожидания время из глубины лагеря вышел человек лет тридцати пяти, в добротном, но не роскошном платье оруженосца знатного дома — сухощавый, с настороженным лицом человека, который давно научился не удивляться, но ещё не разучился тревожиться.

Ожидание растянулось на добрых четверть часа — время, за которое лагерный гарнизонный колокол успел пробить смену караула, а Симон успел пересчитать все заклёпки на кирасе ближайшего часового по три раза, лишь бы не смотреть на застывшее, ничего не выражающее лицо Оливье, за которым, он знал уже, скрывалось напряжение, о котором учитель никогда бы не признался вслух. Где-то за шатрами слышался смех — женский, неуместно лёгкий среди этой военной строгости, — должно быть, кто-то из знатных дам, сопровождавших мужей в походе, коротал вечер за вином и картами, не подозревая, что в нескольких шагах от её шатра решается судьба мальчишки, которого она никогда не увидит и не узнает.

Он остановился в десяти шагах и долго смотрел на Оливье, будто сверял лицо перед собой с лицом, которое хранил в памяти много лет и не был уверен, что оно совпадёт.

— Оливье де Шатильон, — сказал он наконец. — Я слышал, ты погиб под Ла-Рош-Дерье-ном.

— Слухи всегда хоронят раньше срока. — Оливье позволил себе слабое подобие улыбки. — Здравствуй, Гуго.

Гуго де Лонгваль не улыбнулся в ответ. Он окинул взглядом потрёпанную одежду Оливье, его стоптанные сапоги, юношу за его плечом — и Симон увидел, как в этом взгляде читалось не презрение, которого он ожидал, а что-то более сложное: узнавание человека, чья жизнь пошла совсем не так, как обещало его имя.

— Ты пришёл не поздороваться, — сказал Гуго. — За шесть лет ты не искал встречи ни разу, хотя знал, где меня найти. Значит, теперь тебе что-то нужно.

— Нужно, — не стал спорить Оливье. — И я не постыжусь просить, потому что долг — это долг, а моя память не короче твоей. Под Морле я вытащил тебя из-под чужих сапог, когда мог просто проехать мимо и не обернуться. Я прошу не золото и не покровительство. Я прошу имя.

— Чьё?

— Гасконского капитана, что служит под началом твоего лорда. Люди зовут его Волком. Настоящее имя начинается на «Робер» и заканчивается слогом «Го» — это всё, что мы смогли узнать за месяц слушания у чужих костров.

Лицо Гуго изменилось — едва заметно, но Симон, привыкший за последние недели читать людей, как Оливье учил его читать землю, увидел, как что-то в оруженосце сжалось, будто вопрос коснулся раны, о которой тот предпочитал не вспоминать.

— Зачем тебе это имя?

— Это не мне, — сказал Оливье и впервые за разговор посмотрел на Симона, передавая ему право говорить за себя. — Спроси его.

Гуго перевёл взгляд на Симона — долгий, оценивающий, взгляд человека, привыкшего судить о людях по одному разговору, потому что вторых шансов при дворе почти не дают.

— Он сжёт мою деревню, — сказал Симон, и голос его прозвучал ровнее, чем он ожидал. — Убил моего отца. Мою мать растоптал конём у меня на глазах. Сестру увёл — куда, я не знаю до сих пор. Мне семнадцать лет, и я не прошу у вас мести за меня. Я прошу только имя. Остальное — моё дело.

Гуго отвернулся к лагерным огням, сверяя услышанное с чем-то, что помнил сам, и не спешил произносить это вслух.

— Робер де Гокур, — сказал он наконец, тихо, почти шёпотом, будто само произнесение имени вслух в этом лагере было неосторожностью. — Гасконец, младший сын в семье, где старшему досталось всё, а младшему — только шпоры и гордость, которую нечем было прокормить. Он продал себя английской короне не за деньги — за них он мог бы продаться и Валуа, — а за право убивать без счёта и без наказания под чужим флагом, потому что на своей земле за такое вешают, а на войне это называют доблестью. Он не мой друг, Оливье. Я служу тому же лорду, что и он, и это единственное, что нас связывает, и я был бы рад, если бы связь эта оборвалась.

Симон почувствовал, как имя прошло сквозь него, точно раскалённое железо сквозь воду, — с шипением, с паром, с тем коротким, обжигающим миготом, что разделяет прежнюю форму металла и новую. Робер де Гокур. Он повторил имя про себя ещё раз, и ещё, вбивая его в память так же старательно, как вбивал когда-то в металл собственные первые, неуверенные удары молотом, — чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, не забыть его снова, не спутать ни с каким другим именем на свете.

— Где его найти?

— Не ищи его сейчас. — В голосе Гуго впервые прозвучало нечто похожее на предостережение, обращённое не к Оливье, а прямо к Симону. — Через несколько дней будет битва — я слышу это в том, как движется командование, в том, как срочно ищут брод через Сомму. Когда прольётся столько крови разом, отдельная месть в ней теряется, как капля в реке. Волк будет там, со своей ротой, в первых рядах, потому что он всегда в первых рядах — не из храбрости, а потому что первым достаётся лучшая добыча. Дождись битвы. Она сама покажет тебе, где он стоит.

Он помолчал, потом добавил тише — это стоило ему, кажется, больше, чем всё сказанное раньше:

— И вот что ещё, мальчик. Я слышал о партии пленных из Нормандии, которую в конце июля гнали к побережью, туда, где ещё стоял на якоре наш флот, — часть кораблей после высадки короля ушла обратно в Англию с ранеными и с добычей, и живой товар всегда охотно

берут на борт вместе с прочим грузом. Перекупщики, что ходят при обозе, платят за пленников звонкой монетой прямо в портах Котантена, не спрашивая лишнего. Не могу сказать, была ли среди них девочка твоих примет — таких партий было много, а имён никто не спрашивал. Но если хочешь искать сестру, начни с портовых городов на побережье, а не с поля боя. Мёртвые не платят выкупа, а живые — да.

— Есть ли способ узнать точнее? — спросил Симон, цепляясь за эту тонкую нить, как цепляется тонущий за обломок весла. — Список кораблей, имена перекупщиков, хоть что-то?

Гуго покачал головой.

— Списков, которые велись бы для таких, как твоя сестра, не существует, мальчик. Знатных пленников записывают в грамоты, потому что за них платят выкуп по счёту, и счёт этот дорог для тех, кто его ведёт. Простых крестьянских детей не записывает никто — они не долг и не актив, они просто товар, который переходит из рук в руки без пергамента. Мне жаль говорить тебе это так прямо, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь, которая после ранит больше.

Симон кивнул, хотя каждое слово отдавалось в груди новой, тупой болью, отличной от прежней, но не менее тяжёлой.

— Тогда я буду искать без списков.

— Будешь, — согласился Гуго, и в его голосе Симону послышалось нечто похожее на уважение. — Многие на твоём месте давно бы сдались. Не сдавайся раньше времени, мальчик. Время — единственное, что у тебя пока есть в достатке.

Симон почувствовал, как что-то сжалось в груди — не разочарование, а что-то более острое, смесь надежды и боли от того, как мало этой надежды было. Побережье. Хоть что-то. Хоть направление, а не пустота.

— Спасибо, — сказал он, и слово прозвучало неуклюже в его собственных ушах, будто он давно не пользовался им.

Гуго кивнул, потом повернулся к Оливье.

— Долг уплачен, — сказал он. — Не приходи снова, Оливье. Не потому что я не рад тебя видеть — рад, видит бог, рад больше, чем ожидал. Но каждая наша встреча напоминает мне, кем я мог стать, если бы после Морле выбрал другую дорогу. Мне проще жить, не вспоминая об этом слишком часто.

Он ушёл, не оглянувшись, и часовые, до того державшиеся в стороне, снова сомкнулись между Симоном и лагерем знати: граница, на мгновение приоткрывшаяся, затворилась окончательно.

* * *

Они шли обратно к своему костру в темноте, и Симон впервые за долгое время не чувствовал того привычного, глухого гула гнева, который последние недели заполнял его изнутри вместо мыслей. На его месте было что-то другое — острое, отчётливое, почти осязаемое.

Робер де Гокур.

Имя больше не пряталось за прозвищем, за обрывком слога, за неясным силуэтом всадника в дыму. Оно обрело форму — не лицо ещё, не полную историю, но форму, достаточную, чтобы ненависть перестала быть бесформенной бурей и стала чем-то, что можно нести перед собой, как факел, а не как рану.

— Ты доволен, — сказал Оливье, не оборачиваясь, когда они устроились у огня.

— Не знаю, — честно ответил Симон. — Я думал, что имя принесёт облегчение. Оно принесло только... направление.

— Это больше, чем есть у большинства людей на этой войне, — сказал Оливье. — Многие идут вперёд, вообще не зная, куда и зачем. У тебя теперь есть имя врага и берег, где, может быть, искать сестру. Это не облегчение, юноша. Это карта. Облегчение придёт потом — если придёт вообще, а это не мне тебе обещать.

Симон смотрел на огонь, и в пляшущем пламени ему на миг почудился бегущий серебряный волк на серой ткани — не видение, а просто память, вплавленная теперь в имя, в котором она наконец обрела дом.

— Что мне делать с этим именем теперь? — спросил он вслух, не столько обращаясь к Оливье, сколько проверяя, как звучат сами слова в ночном воздухе.

— Ничего, — ответил Оливье, подбрасывая ветку в костёр вместо ответа сразу. — Пока ничего. Носи его при себе, как носишь нож за поясом, — не размахивая им попусту, не пугая тех, кто может тебе ещё пригодиться, но и не забывая, что он у тебя есть. Придёт день, когда имя понадобится не для памяти, а для дела. Ты узнаешь этот день, когда он настанет. Пока не узнал — жди.

— Ты говоришь это так, будто сам ждал подобного дня когда-то.

Оливье долго молчал, и в этом молчании Симон впервые уловил то, что позже научится распознавать безошибочно, — не уклонение, а взвешивание, сколько правды можно позволить себе сказать вслух в конкретную ночь.

— Ждал, — сказал он наконец. — Жду до сих пор, если быть честным. У каждого человека, юноша, есть своё имя, вписанное где-то внутри, — не обязательно имя врага. Иногда это имя того, кого не спас. Иногда — того, кого предал. Моё я ношу дольше, чем ты живёшь на свете. Так что да, я понимаю, каково это — держать имя внутри и не знать, что с ним делать, кроме как ждать.

У соседнего шатра, чиня упряжь и не поднимая головы, сидел ещё один гасконец — из тех, кто слушает за деньги, хоть и не за английскую корону. У него был знакомый в роте капитана по прозвищу Волк. К утру имя уйдёт дальше, из уст в уста.

Они возвращались к своему костру той же дорогой, какой пришли, но дорога уже не казалась Симону той же самой: мир, обретший наконец имя своего врага, стал чуть менее огромным и оттого чуть менее пугающим. Дождь, моросивший весь вечер, стих, и небо над лагерем расчистилось ровно настолько, чтобы показать полосу звёзд между рваными облаками, — Симон вспомнил, как в детстве отец учил его находить среди них Полярную звезду, чтобы не заблудиться в лесу, и подумал с горькой иронией, что теперь у него есть куда более верный ориентир, чем любая звезда: имя, вписанное в память крепче, чем любое созвездие.

— Что мы будем делать, когда найдём его? — спросил Симон, впервые задав этот вопрос вслух, хотя думал о нём с того самого дня в Сен-Клер-де-л'Иль.

— То, что решишь ты, — ответил Оливье просто. — Это твоя месть, юноша, не моя. Я помогу тебе донести её до конца, но не подменю её своей. У меня своих счетов достаточно, и я не хочу путать их с твоими — ни тебе, ни себе это не пойдёт на пользу.

— А если мой счёт окажется больше, чем я смогу оплатить в одиночку?

— Тогда ты позовёшь меня, и я приду, — сказал Оливье, и в этих коротких словах прозвучало обещание более твёрдое, чем любая клятва, произнесённая на латыни в церкви. — Но решать будешь ты. Всегда ты. Это единственное, что у человека остаётся, когда всё прочее отняли, юноша, — право самому решать, как отвечать на отнятое.

* * *

Той ночью, лёжа без сна у костра, Симон впервые заставил себя обдумать всерьёз то, что Гуго сказал ему на прощание, — не как утешение, брошенное вслед, а как выбор, который нужно было сделать не когда-нибудь потом, а сейчас, пока армия ещё стояла лагерем и дорога на запад, к побережью, не заросла новыми милями марша.

Он мог уйти. Прямо сейчас, пока имя Волка ещё горело в памяти, а слово «берег» было единственным, что осталось у него от Аликс, — повернуться спиной к войску и в одиночку пойти к Котантену искать среди перекупщиков и портовых грузчиков след двенадцатилетней девочки, о которой, кроме него, никто на свете не станет спрашивать.

Он взвесил это так же трезво, как Оливье учил его взвешивать след на размытой дороге. Один, без монеты сверх той, что они делили с Оливье, без имени, которое хоть что-то стоило бы у чужих причалов, он не продержался бы и недели — сам Гуго сказал, что списков нет, что купцы не помнят лиц, что берег велик, а «где-то» ничего не значит без денег, чтобы платить за более разговорчивых людей, чем случайный прохожий. Армия была всем, что у него было: кровом, хлебом, защитой Оливье, чужими ушами, которые слышали больше, чем услышал бы одинокий мальчишка на разбойной дороге. Уйти сейчас значило бы выменять единственную опору, какая у него была, на голую надежду и, вероятнее всего, на быструю смерть в придорожной канаве прежде, чем он успел бы задать хоть один вопрос хоть одному перекупщику.

Но он заставил себя признать и другое — честно, без той спасительной лжи, за которую Оливье не похвалил бы его. Часть его не хотела уходить. Не потому, что это было бы неразумно, а потому, что впереди, за Соммой, ждал Волк — не расплывчатое горе, а имя, дорога, обещание конца, который можно было себе представить, — тогда как Аликс была темнотой, в которую предстояло идти, не зная, дойдёшь ли вообще хоть до чего-нибудь. Месть звала его туда, где уже стояло войско. Любовь звала в сторону, в неизвестность, без карты и без гарантии. И если быть с собой до конца честным этой ночью у костра, часть его выбирала бы более лёгкую дорогу не только из расчёта, но и потому, что сердцу она давалась легче, чем тёмная, безымянная надежда.

Он не сказал ничего из этого Оливье. Он решил просто остаться с армией ещё немного — до следующего лагеря, до следующего слова, до того дня, когда у него будет хоть что-то, кроме голых рук и голода по мести, чтобы отправиться на поиски всерьёз. Он назвал это решением, а не отсрочкой. Пройдут годы, прежде чем он перестанет быть до конца уверен, что в ту ночь различал разницу между этими двумя словами.

* * *

Впереди была Сомма. Впереди был брод, который английская армия ещё не нашла, и французское войско, стягивающееся со всех концов королевства, чтобы наконец дать бой захватчикам. Впереди было место под названием Креси, о котором Симон ещё не знал ничего, кроме того, что оно лежит на пути армии, — но которое станет для него куда большим, чем просто название на дороге.

Среди тысяч английских лучников, вышедших вскоре в поле против цвета французского рыцарства, он в последний раз увидит войну такой, какой видел её издавек, — как зритель, а не как участник. После Креси зрителей на этой войне для него больше не будет.

ГЛАВА 6. Тень Креси

Двадцать четвёртого августа армия перешла Сомму вброд у Бланштака, там, где отлив на несколько часов открывал полосу мокрого песка между двух берегов. Симон такого раньше не видел: тысячи людей, лошадей, повозок гнались наперегонки с приливом. На другом берегу — отряд Годмара дю Фэ, слишком малочисленный, чтобы остановить переправу, но достаточно упрямый, чтобы обагрить песок кровью прежде, чем его смяли.

Симон перешёл брод в толпе обозных, по колено в воде, вязанка чужих стрел на плече. Оливье выменял им место среди подносчиков у капитана-лучников — за починку упряжи; перед битвой годился любой предлог оказаться ближе к тем, кто эту битву решит.

Переправа была гонкой не только с приливом, но и с самими французами: конный отряд Годмара дю Фэ, укрепившийся на дальнем берегу, осыпал переправляющихся стрелами и болтами, вода у брода на глазах у Симона розовела там, где течение подхватывало упавших. Маркитантка — женщина, которую он прежде не раз встречал у костров, торговавшая нитками и иглами, — оступилась под тяжестью узла с пожитками и ушла под воду в двух шагах от него; он рванулся было к ней, но чья-то рука ужехватила её за ворот, вытащила — отплывающую, ругающуюся так, что Симон невольно улыбнулся впервые за день, стрелы всё ещё сви-

стели над головами. Оливье тянул его за локоть вперёд, не позволяя задерживаться. — Река не ждёт, юноша, — сказал он коротко, — и прилив не спрашивает, кого жалко оставить. — К тому времени, как последние обозные телеги выкатились на дальний берег, вода уже подступала им под колени. Смерть на этой войне могла прийти не только от клинка или стрелы — от самой земли, от самой воды, безразличных к тому, на чьей ты стороне.

— Держись позади линии, что бы ни случилось, — сказал Оливье, когда на следующий день английская армия остановилась на пологом склоне между Креси и Ваде — вся неделя изнурительного марша легла дорогой к этому холму и только к нему. — Король выбирает поле не для того, чтобы бежать по нему, а для того, чтобы на нём умирали другие. Сегодня умирать будут не мы, если повезёт.

Лагерь в тот вечер гудел особым, напряжённым гулом — не усталостью обычного вечера марша, а гулом людей, которые знают, что завтра будет иначе, чем было вчера, и не могут решить, страшиться этого или желать поскорее покончить с ожиданием. Симон нашёл Пейре у костра лучников: гасконец, устроившись между двумя валлийцами, деловито точил их ножи в обмен на глоток эля. Их пути с Оливье и Симоном то сходились, то расходились всю дорогу от Пуасси — два ручья одной реки, вечно расходящиеся и вечно сходящиеся снова.

— Завтра, — сказал Пейре без предисловий, не отрываясь от точильного камня. — Чувствую по тому, как капитаны ходят взад-вперёд, вместо того чтобы сидеть на месте. Всегда так перед большим делом — начальству не сидится, будто беготнёй можно ускорить рассвет.

— Ты боишься? — спросил Симон, садясь рядом.

Пейре пожал плечами, и в этом жесте было больше правды, чем в любом ответе.

— Боюсь. Только дурак не боится перед таким полем, кузнец, а я достаточно долго живу, чтобы не стыдиться в этом признаваться. Но я и не в первый раз стою в строю. К утру страх осядет, как муть в вине, — не уйдёт, а просто перестанет мешать смотреть.

Оливье устраивался неподалёку, раскладывал на земле снаряжение, которое Симону предстояло таскать назавтра — вязанки стрел, точильный камень, флягу. Заметил вполголоса, не то Симону, не то себе:

— Терраса удобная. Король выбрал её не случайно — склон достаточно пологий, чтобы конница разогналась, и достаточно крутой, чтобы разогнавшаяся конница выдохлась раньше, чем доедет. С одного края лес, с другого — деревня, между ними — мельница на пригорке, откуда, говорят, сам король будет смотреть на бой, как купец смотрит на торги, не марая рук.

Симон лежал без сна между Оливье и чужим костром, вслушивался в негромкий вечерний гул. Думал не о Волке, не о сестре даже — о том, доживёт ли сам до того, чтобы снова слышать мирный шум деревни, а не гомон лагеря накануне побоища. Где-то дальше пели — тихо, нестройно; валлийский лучник тянул песню на языке, которого Симон не понимал, но узнавал в мелодии ту же тоску по дому, только в чужих словах. Промасленные чехлы с луками лучники укрывали под полами плащей и под телегами на случай дождя — заботливый, почти нежный жест среди людей, которым завтра предстояло убивать. Одна из самых странных вещей, какие Симон видел за всю войну.

Ночью прошёл дождь — короткий, злой, летний ливень, вымочивший поле и людей до нитки. К полудню двадцать шестого августа небо расчистилось. Симон стоял среди обоза на фланге, там, где английские лучники вбивали в размокшую землю колья и рыли неглубокие волчьи ямы перед позициями, — и впервые увидел на дальнем краю поля то, ради чего вся эта армия пересекла море.

Французское войско текло на равнину весь остаток дня — не строем, лавиной: отряд за отрядом, знамя за знаменем под золотыми лилиями на синем поле, слишком много, чтобы сосчитать, слишком нетерпеливое, чтобы ждать темноты и построиться как следует. Симон увидел орифламму в первых рядах и вспомнил флот, высаживавшийся на песок Сен-Ваас двенадцать лет назад: те же цвета, тот же спор двух гербов за одну и ту же землю — только теперь

лилии стояли на своём берегу, не бежали от чужого. Король Филипп хотел, как он слышал потом, отложить бой до утра. Задние ряды, не видя приказа, напирали на передние. Передние, не желая казаться трусами перед своими же, шли вперёд — просто потому, что шли все.

Английский боевой порядок Симон разглядывал весь тот вечер с фланга, где держался вместе с обозом: три больших отряда. Один, ведомый совсем ещё молодым принцем Уэльским, занимал передний край справа. Другой, под началом самого короля, держался в резерве на вершине холма, у той самой мельницы, откуда Эдуард намеревался наблюдать за битвой, не вступая в неё, пока не станет ясно, что резерв нужен. Лучники стояли не единой стеной — клиньями, выдвинутыми вперёд по обе стороны от спешенных латников. Один из капитанов, проходя мимо, назвал это «бороной»: с высоты птичьего полёта строй и правда напоминал борону, чьи зубья доставали всадника с любой стороны, куда бы тот ни повернул коня.

— Безумие, — пробормотал Оливье, глядя на это движение с холма. — Они идут в бой так, будто это турнир, где важно прибыть первым, а не выжить последним.

Английские лучники вокруг Симона готовились к бою со спокойствием, которое поразило его больше, чем любая паника: не молились вслух, не бранились — просто один за другим вбивали в раскисшую землю деревянные колья, заострённые с обоих концов (Симон сперва принял их за частокол), и втыкали перед собой пучки стрел остриями вниз, чтобы выхватывать одну за другой, не глядя, одним движением руки. Капитан, у которого Оливье выпросил место для Симона среди подносчиков, — плотный йоркширец по имени Уот, немногословный, как большинство здешних лучников, — обернулся к нему один раз: «Бегай быстро и пригибайся низко, парень, и мы оба доживём до ужина». И отвернулся к полю — разговор был исчерпан.

Тишина, повисшая над полем в последние минуты перед тем, как французское войско тронулось с места, оказалась страшнее любого крика. Тысячи людей стояли неподвижно, вслушивались в стук собственных сердец. Дождь, моросивший всю ночь, стих, не мешая тишине тянуться до последнего возможного мгновения.

* * *

Генуэзские арбалетчики пошли в атаку первыми — несколько тысяч наёмников, шли неровно, пригибались, шарили глазами по полю, не находя того, что искали. Только позже Симон понял, чего именно: высоких щитов-заслонов, за которыми они привыкли перезаряжать, не было — застряли в обозе, не поспев за спешным маршем последних дней. Люди без прикрытия стояли голыми — кузнец без фартука у самого горна. Тетивы их арбалетов, свитые из жил, на марше не снять — не то что тетиву простого лука, которую лучник стягивает одним движением и прячет за пазуху в любой дождь. Отсыревшие под ливнем, эти тетивы тянули теперь вполсилы. Английские луки — Симон весь день разматывал промасленные чехлы своими руками — оставались сухими: их натягивали только перед самым боем. В этой одной разнице решилось всё, что случилось дальше.

Первый залп английских стрел ударил по ним раньше, чем они успели дать свой. Симон стоял с вязанкой стрел за спинами лучников — воздух содрогнулся: тысячи щелчков тетив слились в один сплошной, режущий гул. Небо треснуло разом в тысяче мест. Стрелы падали гуще любого дождя — дождь был накануне, — конец света, спрессованный в несколько ударов сердца.

Генуэзцы побежали почти сразу. Дальше случилось то, чего Симон не вообразил бы, даже слушай он Пейре у сотни костров: французская конница, не дожидаясь, пока свои же наёмники освободят поле, ударила прямо через отступающих арбалетчиков — топтала их сотнями. Не люди. Досадная изгородь на пути к славе.

— Они убивают своих, — сказал Симон, не веря собственным глазам.

— Они не видят своих, — ответил Оливье мрачно. — Рыцарь на полном скаку видит только то, что мешает ему доехать до врага. Сегодня это будут генуэзцы. Завтра, если он выживет, это будет он сам, растоптанный своими же, и никто не остановится, чтобы это заметить.

* * *

То, что последовало дальше, Симон запомнил не как череду событий — как один долгий, непрерывный рёв, растянувшийся на много часов. Волна за волной французской конницы разбивались о неподвижный строй спешенных английских латников. С флангов без остановки били лучники — щели в доспехах, глаза лошадей, незащищённые сгибы колен, снова и снова, — пока земля перед позициями не легла таким слоем стрел, что поздние залпы втыкались уже не в землю, а в тела прежних жертв.

Симон бегал за стрелами весь остаток дня — от обоза к линии и обратно, пригибаясь, оглушённый, руки стёрты в кровь верёвками вязанок. В перерывах между перебежками видел то, что позже будет сниться ему многие годы: рыцари, чьи гербы ещё утром сияли золотом и лазурью на зелёном поле, падали под собственными конями, захлёбывались в жидкой грязи с кровью — слишком тяжёлые в доспехах, чтобы подняться самим. Оруженосцы бросали господ, за которых поклялись умереть, бежали в темноту. Король Богемии, слепой старик, велел привязать поводья своего коня к поводьям двух рыцарей по бокам — умереть в бою, которого не мог видеть. И умер, как просил, в самой гуще резни, там, куда его привели верные до последнего вздоха.

Запах поля перестал быть запахом травы и дождя уже к середине дня — его вытеснил тяжёлый, металлический дух свежей крови, конского пота и серы сгоревшей пороховой мякоти: бомбарды на фланге тоже вступили в дело, хотя грохот их тонул в общем реве, Симон различал его только по вспышкам света. Отдельные крики пропали — остался один сплошной звук: вопли раненых, ржание умирающих лошадей, лязг стали о сталь. Звук проникал не через уши — сквозь кожу, вибрацией, которую тело запомнит дольше, чем разум запомнит образы этого дня.

Один раз он остановился сам, без приказа. Молодой английский лучник, стоявший через два человека от капитана, у которого Симон выпросил место среди подносчиков, упал с разбитой о собственный лук челюстью — французский арбалетный болт долетел даже туда, где стрелков считали недостижимыми, — остался лежать на ничейной полосе перед строем, куда через минуту должна была докатиться очередная волна конницы. Никто из соседей не бросился за ним: каждый держал позицию, позиция значила больше, чем упавший товарищ. Симон бросил вязанку стрел, метнулся вперёд, ухватил лучника за перевязь, втащил обратно за линию колов — за миг до того, как там, где тот лежал, прошли копыта первых лошадей. Он не спросил разрешения, не подумал, вправе ли решать за себя в чужом строю. Просто решил. И оказался прав.

— Ты не обязан был, — прохрипел лучник, когда его перевязывали позже, тем же вечером.

— Знаю, — сказал Симон. Больше он ничего не смог придумать, но и не пожалел о сказанном.

К ночи битва не остановилась — потеряла форму, рассыпалась на десятки отдельных стычек в темноте: английские латники с факелами добивали раненых, не разбирая, кто перед ними, знатный рыцарь или простой оруженосец, — ночью некому было отличить выкуп от бессмысленной резни. Симон видел это тоже. Не отвернулся, хотя хотел. В ту ночь он понял то, что запомнит на всю жизнь: рыцарская честь днём и обычная бойня в темноте — одно и то же, разница лишь в том, кто в этот момент смотрит.

Он видел: один факелоносец склонился над раненым французским рыцарем, ещё живым, но слишком израненным, чтобы подняться. Не нашёл на нём ничего, что стоило бы забрать в выкуп, — перерезал горло тем же движением, каким мясник перерезает горло барану, не глядя в лицо. Симон вспомнил мельницу под Лизьё, собственный первый удар ножом, вслепую, в панике. Он убил, чтобы жить. Этот латник убивал, потому что мог. Человек, которого он искал под именем Волка, не отличался от этого латника ничем, кроме масштаба.

* * *

Уже глубокой ночью, когда основная резня откатилась дальше в темноту, Симон сидел у края обоза, обессиленный, зажимая ссадину на ладони, — и увидел то, ради чего, как ему казалось теперь, он и оказался на этом поле.

Отряд гасконских латников, растянувшийся вдоль дальнего края позиций графа Уорика, разворачивался для отхода — не в панике, как многие другие: организованно, слаженно, движением людей, которые слишком хорошо знают войну, чтобы гибнуть в ней без нужды. Во главе, при свете далёкого пожара — горела то ли деревня, то ли брошенная повозка с сеном, — Симон различил всадника на сером коне. На груди у него, тусклая в неверном свете, темнела вышивка: бегущий волк.

Симон вскочил на ноги прежде, чем успел подумать. Рука Оливье легла ему на плечо — тяжёлым камнем.

— Не здесь, — сказал Оливье тихо, но твёрдо. — Не сегодня. Между тобой и им пятьдесят латников и целое поле мёртвых. Гуго был прав: битва теряет отдельную месть в себе, как каплю в реке. Сегодня ты умрёшь бессмысленно, а он даже не узнает твоего имени перед тем, как забыть о тебе.

Симон стоял, дрожа — не от страха, от того, как близко и одновременно недостижимо далеко была фигура на сером коне. Смотрел, как отряд Волка уходит в темноту, невредимый, пока вокруг догорали кострами и столами тысячи людей, заплативших за этот день куда большую цену.

— Он уходит целым, — сказал Симон глухо. — Пока рыцари, что были благороднее его в сто раз, гниют в этой грязи, он уходит целым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.